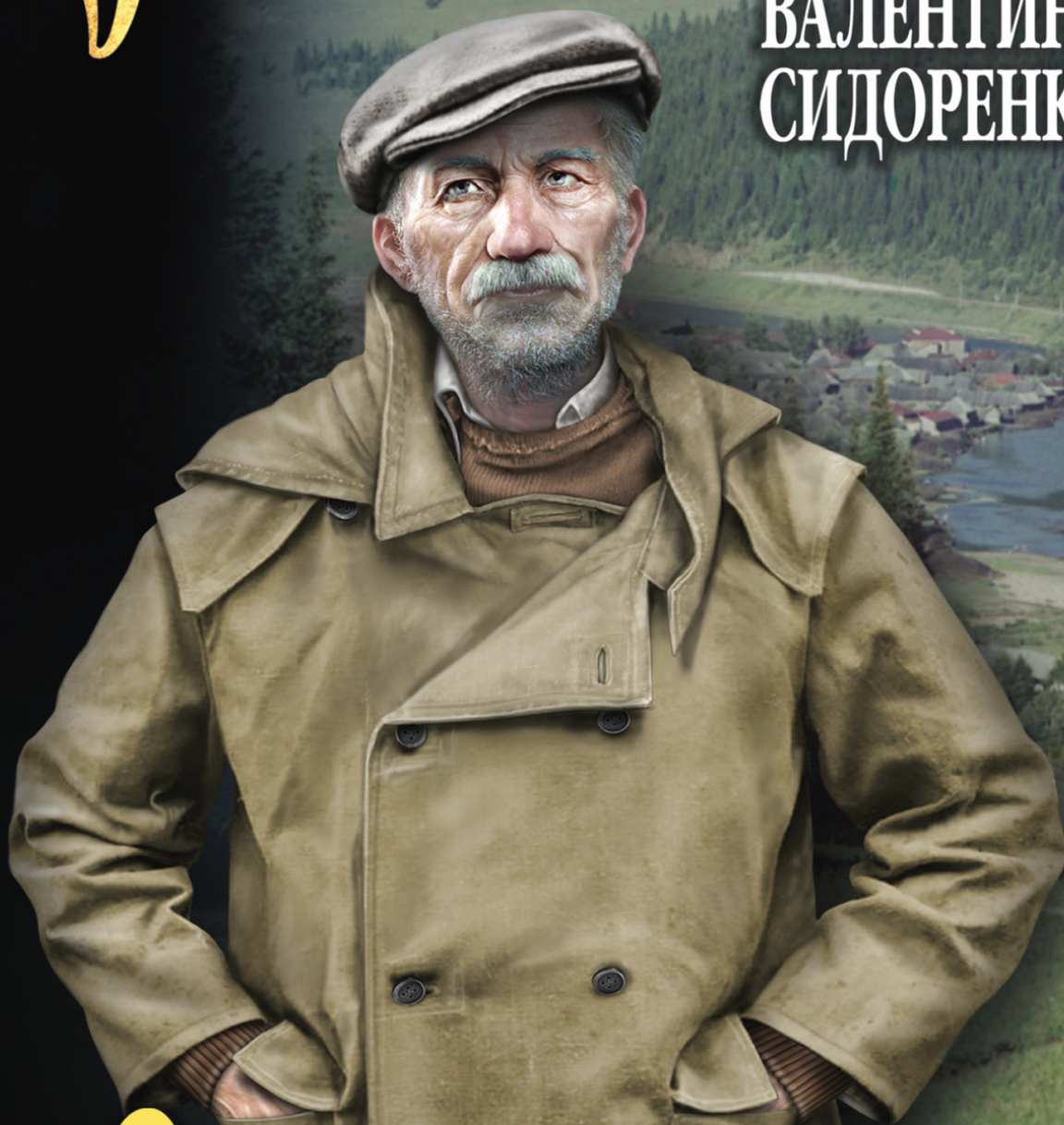


СИБИРИАДА

ВАЛЕНТИНА  
СИДОРЕНКО



Замыкающий

Сибиряда

Валентина Сидоренко  
**Замыкающий (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2018

**Сидоренко В. В.**

Замыкающий (сборник) / В. В. Сидоренко — «ВЕЧЕ»,  
2018 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7840-6

В книгу сибирской писательницы Валентины Сидоренко вошли семь повестей, написанных в разное время. Почти все они о сибирской деревне, о трагедии народа, который в лихие времена сумел выжить благодаря невероятной стойкости и потому, что не забывал заветы своих предков. Проза автора обращена к читателю, чуткому к звучанию русского слова, оттенкам его смыслов, к тем, кто имеет вкус к серьезному размышлению о дне сегодняшнем в потоке вечного времени.

ISBN 978-5-4484-7840-6

© Сидоренко В. В., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

# Содержание

Завтра праздник	6
Рядышком	42
Конец ознакомительного фрагмента.	85

# **Валентина Васильевна Сидоренко**

## **Замыкающий**

© Сидоренко В.В., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Завтра праздник

### 1

...Тихо-то как... Сейчас бы комара услышала. А с вечера замело... ы-ы в трубе, словно нечистый там сидел. Я уже испугалась, думаю, боже упаси, беда бы не случилась. Еще бабуля в детстве говорила мне: как печь завывала, жди беды. Рассказывала, что у деда Филиппа перед смертью печь гудела. И ветра не было, а как затопит – гуд стоит. Чудно... Вроде как я давно приметам верю. Да и чему удивляться, сама бабуля уже. Проживешь жизнь, так всему поверишь, а ближе-то к смерти и подавно. Как подумаешь, куда уйдешь, куда денешься, – тошно. Приду-рок какой-нибудь волосатый откопает твою башку, пнет вместо мячика. Вон, когда на старом кладбище завод строили, так, сами еще молодые, ржали, как кони, стояли. А чего ржали-то, подумать если: кости человеческие, твои, что ли, краше будут? В молодости не понять такое человеку. Молодые, они и помирать не боятся.

Наталья лежит на спине, тепло укрывшись одеялом до подбородка. Она уже пригляделась к серому сумраку. Различает перед собой остов телевизора, который стоит у кровати на тумбочке, а за ним в верхнем стекле окна торчит студень сколок утренней звезды.

Да и верно, холодно в избе. Пару, как в хорошей бане. Слава богу, народу много, надышат. Говорила ведь мозгляку старому, замазкой заделай окно, чтоб воздух не попадал. Нет, косорукий, наклеил газет. Грейся теперь бумажкой. Никакой подмоги от мужика. Везде самой углядывать надо...

Муж спит рядом, уткнувшись острым подбородком ей в плечо. Он сухой, горячий, складывается, как циркуль, что у ребятишек. Сопит простуженным носом.

Завтра праздник. Еще год войны не будет. Привыкла уже отмечать: как до ноября дотянули – все, там зимуй спокойно. Если что начнется, то летом, по теплу. Молодым скажи-ка, что каждое лето про такое думаешь. Ведь засмеют. А смешного ничего нету... Человек рождается с чистой головой, не знает, что до него, а и узнает, все одно не дойдет, пока самого не шарахнет. Оно потому и шарахает, каждому поколению достается... Завтра придут други мои дорогие. Притопают, соберутся. Васька Антонов первый с зари нарисует, этот и ждать не станет. Гармошку под мышку – и тут. У него, наверно, на весь поселок одна гармошка и живая. Да и он как был трепач, так и остался. Вот бабы с ним и не уживаются. Ни одна. Полк их перебрал. Больше года с ним никто ни-ни. А чего? Такой веселый мужик, всю бы жизнь с ним пропела какая-нибудь. Ванюшка придет Акимов с Клавдией. Недавно внука женили, офицера. С умом живут люди, всего двое детей, внук уже большой, и нужды никогда не знали – не то что я: одну копейку семь раз пересчитаю.

Сонька кудрявая прибежит с Васькой, галдеть будет. Сатана в юбке. Столб на дороге – и тот в свою сторону своротит. Говорит: «Наталья, куда тебе хвосты эти, кто их носит? Обрежь, завивку сделай химическую – и красиво, и голову пригреешь. Болеть не будет». Уломала ведь. Отдала «пятерку». Такой срам на голове накрутили. Чистый черкес; как вот они в кино по телевизору бегают, с шапками, так и она ходила.

Вера... Вера померла... Вчера успокоили. Ушла Верочка... Народу было... Всех вспомнили. Оповестили. Мой Семен... – и тут она вспомнила, отчего с утра досадует на мужа, – нажрался, кобель. В дым наакался. Такой стыд, сквозь землю бы провалиться. Ну куда дальше-то? Уж все, некуда! Это он с похорон соседки раком приполз. Пил в свое удовольствие, не терялся. Ой-е-е, что за беда такая напала... Пьют так пьют, теряют вид человеческий. Уж ничего не понимают, что где – похороны, свадьба. Ведь раньше такого не было. И жили беднее,

но чтобы так... Ну, получка, аванец – чекушка, бывало, да и то на двоих... Уж я его запилю сегодня, уж я его съем, страмину.

Ребятишек полон дом, а ему все хиханьки. Встал, шляпу надел, подался! Тут тебе трава не расти. Как еще умудрились с ним дом выстроить... Дом у них высокий, сухой, крепкий. Строили сразу после войны. Завод тогда, чтобы закрепить народ за собой, давал желающим хорошую ссуду. Помогали и камнем, и тесом, и рабочими. Детей... у них был еще один Сергей – довоенный, но Семен размахнулся широко. И слава богу. Не ошибся хоть в этом. Ребятишки потом посыпались, как грибы. За Сергеем Анечка родилась. Сейчас она за шофером в Братске живет. Хорошо живут, квартира богатая, все есть. И третий ребенок уже. В Наталью пошла дочка. Ничего, она девчонка мудрая, тихая, с ней можно ладить. Одна-единственная оторвалась от дому, от забот Натальиных. Остальные, считай, при матери. Юлька, Володька и двойняшки. Эти уже – поскребыши.

Вот болеть начала. Ноги судорогой сводит. Как начнет стрелять, не знаешь, куда деваться. Уж и парила их, и крапивой терла, и к Иванихе за травой ходила – ничего не берет лихоту. Васька Антонов научил. Ткни, мол, в боль самую иглой – и как рукой снимет. Иваниха еще смеялась – шилом, мол, Талька, ткни, чего там иглой. А куда денешься: припрет – так и ткнешь. Не по врачам же бегать.

Постряпать бы еще завтра. Мука у нее есть, на зиму всегда закупали куль на семью, мясо Сергей из города привез, капуста, картошка есть. Яйца вот кончились. Старый как зарядил – что ни утро, то парочка. Сказала же – береги к празднику. Люди придут – на стол нечего поставить будет. Ну, даст бог, управлюсь...

Дремота еще сладковато тяжелила голову. Наталья прикрыла глаза, раздумывая, встать или полежать еще. В молодости, когда ребятишки были маленькими, не залеживалась: как солдат – глаза открыл и встал. А сейчас все труднее и труднее подниматься рано. И разоспишься под утро, да и немолоденькая уже. Вот уж правда, давно немолоденькая. При таких детях хотя бы лет сорок. Двойняток она не хотела рожать. Ей как раз сороковой год и шел, тогда уже разрешили аборт, и Наталья тоже сунулась в больницу.

Пришла в назначенный день, села в стороночке. А бабы молодые в очереди между собою шепчутся, смеются, показалось, что над ней, вот, мол старушка – божий одуванчик и туда же. стыдно – не знаешь, куда глаза девать. А тут еще вышел в коридор врач – мужик, здоровый парнина, усатый, руки в перчатках по локоть. Обмерла Наталья, посидела, махнула рукой и ушла. Дорогой поплакала. Время еще было бедноватое, послевоенное, ровесницы ее в эти годы уже и забывали, что они бабы. А что делать? Весной вот притартала Андрея и Женьку.

Скрипнула дверь соседней комнаты, мелко зашаркали тапки – свекор. Тоже петух. Хоть бы единое утречко проспал...

Больше не раздумывая, она откинула одеяло, встала на холодный пол. Привычно натянула в темноте чулки, рейтузы, накинула байковый халат, вышла на кухню.

– Здорово, дядя Пантелей.

Свекор молча кивнул головой. Пока она ходила по кухне, растопляла печь, ставила греть воду, свекор сидел у стола, опустив лысую, взбухшую голову, прерывисто и шумно дремал.

«Чего нейметя человеку?» – беззлобно подумала Наталья. Она налила из термоса приготовленный для свекра чай, пододвинула старику кружку. Тот дрогнул лицом и открыл глаза. Они толклись на кухне каждое утро, не мешая и не замечая друг друга. Свекор совсем дряхлый стал, плохо видит, не выходит за ворота. Тенью проползет по дому – и опять на свою лежанку. Взбух чего-то под старость. Налился, как бычий пузырь. Ему, наверное, за девяносто...

Печь быстро, с трескотней разгорелась, не успела Наталья и чайники залить водой, а от плиты уже густо поднимался жар.

Облаков на небе еще не видать, хотя уже слиняла жирная чернота ночи. Нынче чудное для Натальи утро. Она и проснулась-то с неясной душой; и что-то горьковато тревожит ее, и,

смешиваясь с привычными заботами неутомимого будника, откуда-то из глубины вроде как поднимается слабый рассеянный свет, от которого щемит на сердце. Как будто ждет чего Наталья, надеется еще, верит, как в девушках верила, мол, вот-вот случится что-то – и все переменится к доброму. А сладко рано вставать. Разойдешься, разомнешься. Сонливость развеется. Чувствует себя Наталья в это совсем одинокое время суток еще сильной, проворной, и мысли текут добрые, не смятые суетой бестолково-жесткой жизни. Да и о ней, о жизни, думается по-иному, особенно, будто смотришь на нее со стороны, с прожитого и понятого высоко.

Свекор, допив чай, тяжело встал, утер рукавом вспотевший лоб и подался в ночные еще комнаты.

Наталья грустно посмотрела ему вслед, вздохнула и понесла собаке разогретый вчерашний суп. Откинув крючок в сенцах, она с силой толкнула примерзшую дверь. В глаза стремительно, слепяще ударила белизна молочного снега. Наталья вступила в ограду, взглянула с ее высоты на пологую низину огорода и дальше, в открытую ровную ширь утренней окраины.

Как высветлело за ночь! Разошлись, раздвинулись, размылись края горизонта, пахнуло простором, свежестью, предзимней играющей чистотой. Много есть волнующего в решительном переломе природы, в ее крутом переходе к зиме. Вон снег, еще парной, младенческий, вдали подернут ясной дымкой. И затихший лесок на пригорке, и крепкий, тонкосветящийся сرزова воздух, и высокий холод выстекленного ноябрьского неба – все непрерывно сходится, сливается, все живо, нежно, к месту, все движется, работает, радуется, играет, как молодое, здоровое человеческое тело, и как человек не живет без души, так и Наталья еще с несмышленной поры верит в мудрую «душу» всего окружающего ее, живущую так же, как и человек, мыслью, настроением и сокровенно связанную с нею. Только видишь, ощущаешь все это нечасто. Нет у Натальи вольного времени и ясности не хватает, чтобы несмело уловить, вот как сегодня, в своей душе и в этом спокойно-доверчивом предзимье светлые знаки родства.

«Прожить бы еще чуток», – грустно подумала она. Громадная ворона сорвалась с ветвистого заснеженного тополя и, сияя глубокой чернотой крыла, нагло и плавно проплыла над самой головой Натальи, уселась на соседний тополь, хрипло и отрывисто каркнула.

– Я те каркну! – погрозила ей вслух Наталья. – Перья полетят. Вон в лес лети, там тебе место.

Услышав хозяйку, в будке сразу залаял пес, потом выскочил, потянулся, изогнув дугой крысино зализанный круглый хвост.

«Завели тебя, как молотилку, – грустно подумала Наталья, выливая в собачью лохань суп, – и крутишься, крутишься, покуда не сломаешься. А путного и повидать некогда. И подумать про хорошее не остановишься». Но оставалось еще невыясненным что-то на сердце, что заставляло прислушаться к себе и вспомнить. Это был сон. Она подумала про него, разглядывая вдали лес.

Она снова видела свою родину. Будто въезжает вместе со своей семьей в степную кубанскую станицу по широкой низкой улице на подводах. И все правдиво горько, ясно, как в хорошем кино по телевизору: ведра привязанные звянькают, зеркало стенное торчит, шкаф качается, чемоданы семейные, старые, громадные, уложены темной лесенкой. Наталья держит внучонка Витеньку на руках. Семен лошадыми правит, Сергей пешим идет за ними, Юлька волосы чешет у зеркала, мальчишки тараторят, и вроде Аня и Володька с ними. Все, кто с нею жил, кем она жила, о ком она заботилась, для кого работала – все приехали с нею. И ничего вроде не переменялось в родном краю, все осталось таким же, как в юности, нетронутым, несокрушимо вошедшим в ее память. Было Наталье во сне жарко, глотала она мучнистую полуденную пыль, и хатка ее так же одиноко косилась набок, стояла с забитыми низкими окнами, вполовину заросшими полынью и лебедой. И как она радовалась во сне, как легко и целительно плакала, показывая Юльке, где спала в детстве. И такое сильное, пронзительное, несуетливое, до боли счастливое чувство, которое Наталья испытывала во сне, она не знала никогда в своей

настоящей многотрудной жизни. Первый такой сон она увидела тридцать три года назад, когда родила Сергея. Вот так и въехали Семен, она и сын на руках в родную станицу, привезли с собой три подушки и детские шмутки – весь их нехитрый скарб. А потом в строгой очередности ввозила она туда и Аню, и Юльку, и Володьку, и двойнят, и вещи, которыми обрастала, и годы, которые прожила, – все было с нею. А нынче во сне, ставя на землю чемодан, будто сказала она Семену: «Вот, Сема, всех перевезли, и дети со мной, и Володька со мной, больше я уже отсюда никуда не поеду». Сказала и пошла лошадой распрягать. Известно, лошади – ложь. Разве она вырвется, поедет? Все дети, работа, болезни. А взять бы вот хоть раз бросить все и уехать на месяц. Что тут без нее остановится, лопнет, помрет кто? А тянет родная земля. Ох, как тянет. А к старости еще сильнее, будто годы, прожитые здесь, в Сибири, не в счет, и не сроднили и не связали они Наталью. Еще бы такая земля не потянула! Весною, как зацветет там, как заиграет, гул стоит от цвету такого. А какие вишни у них в саду были! Семь вишен. Сливу – ту и за продукт не считали. Видать, только и жила Наталья, что в детстве да молодости, а потом только работала, – оглянись, за всю замужнюю жизнь не помнит она передыху.

«Черти меня сюда занесли», – беззлобно подумала она и пошла в дом. На кухне уже стояла Юлька, растрепанная, в ночной рубаше с сальными пятнами. Она сняла пеленки, висевшие над печкой, унесла их к себе. Через минуту раздраженно крикнула:

– Мам, где вторая соска?

Наталья вошла в тесную комнатку дочери. Настольная лампа желтила стены, мешалось разбросанное в беспорядке детское и Юлькино белье. На широкой кровати сучил пухлыми ножонками пятимесячный Витюшка; увидев бабку, он ожидающе замер, глядя на нее влажными от сна темными глазами. Юлька прилаживала соску к бутылочке с молоком.

– Чего еще удумала? – недовольно спросила Наталья.

– Не берет он, – буркнула дочь.

– Не давала, так и не берет. Леня ребенка у титьки подержать. Садись, говорю.

Юлька коротко взглянула на мать, нервно раздула ноздри, однако села.

– Это что за баловство, а?! Сосунок! – заверещала Наталья, укладывая ребенка на коленях у дочери. – Вот она, твоя родимая. Хватай ее, тяни изо всех сил, тяни. – Она взяла двумя пальцами сосок Юлькиной груди и вложила его в рот ребенку. Витюшка зажал сосок деснами, соснул два раза, потом шлепнул ладошкой по груди и оторвался.

– А я тебе что говорила, – рассердилась дочь.

– А давно кормила?

– В три ночи.

– Может, сыт? – Наталья тронула рукой обвисающую грудь дочери. – Да у тебя нет ниче. Что ж он сосать будет?

– А что я сделаю? – плаксиво обиделась дочь. – Где я его возьму?

– Психовать меньше надо! – оборвала Наталья. – Ты подумай, ты ведь не себя изводишь, ты его изводишь.

Юлька всхлипнула, утерла рукой вздрагивающий ноздрями узкий нос. Глядя на нее, Наталья опять вспомнила, как Юлька так же раздувала ноздри в младенчестве, когда, проголодавшись, судорожно искала разбухшую Натальину грудь, и пока она делала первые втягивающие глотки, нос ее еще трепетал, и тогда лицо девочки становилось на минуту не по-детски жестким и высокомерным. Наталья подумала об этом впервые, когда Юлька уже ушла от мужа и кормила трехмесячного Витюшку в первый раз в своей комнате. Это она делала так же нервно, бестолково, как делала все, руки ее напряженно дрожали, нос вздрагивал.

– Однако пойдём, – успокаивающе тронула ее за плечо Наталья, – чаю попьешь горячего со сливками. Полежишь, отдохнешь. Придет молочко. Не бывает так, чтобы не пришло. – И она взяла на руки Витюшку.

– Отца сошлю на базар нынче. Говорят, грецкие орехи хорошо помогают, – сказала она, ставя на стол перед дочерью стакан с горячим, белым от сухих сливок чаем.

Юлька вяло звякнула ложечкой, помешивая в стакане. Нечесанные волосы прикрывали помятое от бессонницы равнодушное, усталое лицо. Худая, длинная, с жестокой челкой до глаз, она сейчас напоминала матери нервную и бестолковую кобылу. Наталья, держа внука на руках, с жалостью глядела на нее, отмечая белые девчоночьи мосластые плечи дочери, несильную плоскую грудь. «Орет много, – подумала она про себя. – Такой псих – не дай господь! Вот и свекровка такая была. Как расшумится – не остановишь. Уж она этого свекра и так и сяк. Бывало, орет, орет, материт его в хвост и гриву. Ну позеленеет вся – до того закатится. А толк какой? Проняла она его? Пропекла? Прошибла? Он при ней всю жизнь на базарах сидел, с бабами треп разводил, а она горбатилась всю жизнь на заводе да в огороде, да все ему правду свою доказывала. Доказала! Он еще после нее пятнадцать раз женился да разводился. Чего ему, здоровый был, как боров».

Юлька ушла от мужа в сентябре, Витюшка был еще такой крохотный, что страшно на руки брать. Наталья уже забыла за пятнадцать лет, какие они бывают. Но привыкла быстро. Не будь внука, Наталья, конечно, не спустила бы ей такого возвращения. Еще чего! Года не прожила, с дитем приперлась. Разобралась бы, начистила бы Юльке хвост – и опять к мужу. Она уверена, что на жизни дочери сказывается ее капризный, неуживчивый характер. Но сейчас у нее не ладилось кормление. Наталья понимала, что серьезно с ней говорить нельзя. Дочери ведь слова поперек не скажи, она задержается, зафыркает, в рев. Нет уж, Наталья лучше промолчит до поры.

– Мам, ты чего мальчишек не будишь? – напомнила Юлька.

– И то, – поспешно согласилась Наталья и крикнула в комнаты: – Андрей, Женька! Будет вам вылеживаться...

## 2

Женька не спал давно. Он лежал рядом с братом на раскладном старом диване, в комнате, которую по давней традиции называли детской. Сегодня в комнате было светлее, чем обычно в осенний утренник. Пора встать и посмотреть – что же там за окном, но тепло печи еще не нагрело воздух, и расставаться с одеялом не хотелось. Андрей горячо дышал ему в шею и сонно чмокал.

Обособленная деревянной перегородкой комната была узкая, как все в доме. У окна едва помещался письменный стол, за которым они занимались. Клеенка на столе всегда исписана, исчеркана, заляпана чернилами. Наталья как входила в их комнату, так бранилась за клеенку. Новую мать покупала обычно к празднику. Дня два она ярко отливала красками, потом Андрей рисовал на ней женскую головку. Вчера, чтобы позлить брата, Андрей вычертил носатый профиль с длинной шеей, начеркал короткую стрижку и остро выписал под этим: «Оля». Женька обозленно побелел и схватил горячий тяжелый утюг, которым гладил на диване брюки, и если бы вовремя вошедший Семен не разогнал их, то приключилась бы драка.

В окно Женьке видна соседская крыша сарая. Он увидел снег и от удовольствия зажмурился. Потом мимо прошел черный ворон, вернулся, сел на крышу и, переваливаясь на прямых ногах, пошел печатать широкие узорчатые следы. Женька неотрывно следил за ним; что-то было зловещее в этой крупной, словно лакированной, птице с глубинными, коротко мигающими глазами.

Он вспомнил, что мать не любит ворон. Старухи верят, что в доме, подле которого вертится эта птица, живет несчастье. Потом ворон распахнул крылья и, бесшумно взмахивая ими, полетел. Женька взобрался на стол и, прижавшись к стеклу, молча следил за высокомерно-неторопливой в дымчатом утреннике птицей.

«Что-то будет», – подумал он и, поймав себя на суеверии, рассмеялся.

– Ты че? – спросил Андрей, оторвав голову от подушки.

– Ниче, – невольно буркнул Женька, сел, ощущая кожей прилипчатую, прохладную клеенку...

Голова Андрея снова упала на подушку. Женька прилег на столе, закинул руки под голову, удобно задрал ноги, рассматривал светлеющее небо. Ночью он видел сон, будто искал соседку Ольгу. Он ходил по коридорам, заглядывая в двери, чувствовал, что Ольга где-то рядом, а найти ее не смог. Еще он вспомнил, что остро и стесненно хотел во сне плакать. Сейчас он устыдился такого желания, но подумал, что сон неслучайный.

«Все равно что-то будет, – горько подумал он. – Сколько же я ее не видел? – Он закрыл глаза и посчитал: – Среда, четверг, пятница, суббота. Четыре дня. Было б, как раньше, она пришла бы завтра на праздник». В последний раз он видел ее на огороде. Ольга снимала с веревки высохшие пеленки. Одета по-бабьи, в плюшевую материнскую жакетку, старый платок на голове, под черной юбкой, бьющейся от ветра, сиротливо белеют голые ноги.

Осень в этом году застоялась. Даже жесткие октябрьские бури отгуляли без снега. Так отпылили, обкромсали палисадники, и опять просторно и безрадостно стало на земле. В середине дня едва проклюнется солнце, жалким болезненным теплом часа четыре светится воздух, а вечера черные, сырые, выйдешь за порог, и, как из ямы, остро несет застоялым болотом. А по утрам ударят заморозки, поседеет, обесцветится все вокруг, и так изо дня в день весь месяц, уже и капусту собрали, и огороды расчистили, вяло дымя сладковатыми кострищами, и снега хочется, сухой утренней пороши, полного первого морозца. Ан нет! И кажется, что другой погоды не было, так всегда и будет. Ольга в эту пору часто появлялась на огороде, развешивала пеленки на длинных веревках, полоскала белье у водопровода, отогревая дыханием красные, скрюченные от воды пальцы. А то подолгу стояла, обыденно вглядываясь в черный кустарник на краю болота.

Женька, карауливший ее на чердаке, всегда улавливал в опустевшем, без былого напряжения лице этой женщины то притерпевшееся выражение, которое бывает у старых, равнодушных ко всему баб.

Они росли вместе, несмотря на возраст, разнившийся их. Как-то он больше вертелся возле девчонок – и мать велела быть ближе к сестре, и Ольга, с охотой игравшая с ним, относилась к нему тоже, как к брату. Летом он обычно выжидал Юльку с Ольгой в деревянном сарае, любимом месте уединений в семье. Вмявшись в самый угол между сухой поленницей и потемневшими сыпучими вязанками материнских прошлогодних трав и пустыми головками мака, он считал дорогое купальное времечко и изредка робко канючил. Сколько он помнит, девчонки всегда наряжались и красились украдкой перед треснувшим, выброшенным в сарай зеркалом. Юлька высоко поднимала юбку, укрепив ее в боках бельевыми прищепками, вертелась, выгибая спину, осматривая прямые, как палки, белые ноги.

– Неужели так ходить будут?

Ольга красила кисточкой ресницы, через зеркало оценила – короче.

– С ума сошла.

– Так ни то ни се. – Она подошла к подруге, подняла юбку выше, потом треснула ту между лопаток.

– Что за горб! Подтянись. Вот так. И следи за своими руками. Руки... – Она быстро, чуть приподняв плечи, игриво переплела у лица свои смуглые узкие пальцы. – Это главное у женщины. Они должны быть ухоженными, подвижными. Юлька, ну что это за ногти?!

– Ну а я че. Я их правда чищу все время.

Женька, потеряв всякое терпение, открывал рот, Юлька, как жеребец, перебирая ногами перед зеркалом, противно скрючив рот, угрожающе складывала для него костлявый кулак.

– Счас, Женечка, счас, милый, – ласково успокаивала Ольга. Они отворачивались и тут же забывали о нем.

– Знаешь, как Ва́гина купаться ходит? – Юлька показала широкий разрез на груди.

– Ну и что? – нерешительно спросила Ольга.

– А там ниче нет. Чувствуешь? Плоская, как выдра. А воображает идет. Красавица! Нос прыщиком, веснушки по всей морде. Волосы так гладко зачесет. Смотреть противно...

– А тебе-то что?

– А мне-то что! Я говорю, идет, воображает. Ах-ах-ах. Мама мне тройку купила. Папа мне лакировки достал... Кобыла!

– Переживи, – добродушно махала рукой Ольга и расчесывала волосы с затылка.

Женьку до смерти тянуло на протоку. Им с Андреем без старших ходить купаться не разрешали. Наталья, у которой в детстве на глазах утонул брат, становилась неумолимой, когда дело касалось реки. Много бы сошло ему с рук, но уйди хоть раз он без старшего в семье купаться, то схлопотал бы себе жестокую порку. Женька вылезал из сарая, чуть не плача слонялся по двору, потом, схватив доброе полено, колотил в гнилую стену сарая.

Всклобоченная Юлькина голова медленно высывалась из двери, она щурилась и зло шипела:

– Убью...

Наконец девчонки выходили из сарая, буднично отряхивали юбки, выбивали сор из старых тапок. Юлька всей челюстью жевала серу, равнодушно глядя на залысину подле уха линялого кобеля. Ольга заплетала косички, ровняла челку, легко щипала Женькину шею. Женька шагал за ними по вытопанной до жирного болотного чернозема тропинке, кожей чуя близкий холод реки, и повизгивал про себя от нетерпения. Глядя на сутулую спину сестры, он зло-радно вспоминал Ольгино – распустила. Девицы шли медленно и лениво, юбки на них висели, и Женьке, которого в ту пору особенно удивляли разительные мгновенные перемены в людях, они казались серыми, как домашние утки по весне. Там, у зеркала в сарае, они прихорашивались другими, гибкими, легкими, живо блестели глаза, а потом вдруг сразу увяли. Такой же разной, менявшейся по многу раз в день, он видел свою мать. По утрам хлопотливой и грубой, хорошо защищенной деловой, решительной энергией, растерянной и жалкой, когда читает письма от Володьки, и по-детски слабой, маленькой, худой, усталой, когда вечерами чешет гребенкой темные свои волосы. Он знал такие перемены в каждом знакомом ему человеке, но то таинственное, что стремительно, стихийно возникало в девчонках, стоило им остановиться у зеркала или попасть в толпу, где много ребят, особенно волновало и тревожило его. В летние выходные перед полночью Женька удирал от Андрея, крался вдоль заборов на болото, ложился в сырую, жестковатую траву подле дороги в город. Юльке еще не полагалось ходить на танцы, и он поджидал ее, чтобы вместе вернуться домой. Женька лежал на спине, слушая отдаленный хлопающий шум машин, сосал едва отдающую сладостью растрепанную шапку болотной кашки. Остужая горячее от беготни лицо, он собирал ладонями росу с травы и прикладывал к щекам. Ему нравилось лежать в темноте, думать, что вот его никто не видит и не слышит, а он слышит все. Навострившись, Женька угадывал хлопающие всплески дикого утино выводка, потом различал заботливый крик утки-матери, часто он видел посреди озера острую мордочку плавно плывущей водяной крысы. Тогда еще на болоте водились лягушки, и эти осторожные снующие звуки невидимой ночной жизни дробно пересыпались глухим и мягким «куак».

Девчонок он слышал, как только они сходили с автобуса, по громким голосам соображал, что они сейчас одни на шоссе и еще танцуют, шаркая об асфальт праздничными босоножками. Они сбегали с невысокой горки на тропу, и колкие капли росы, сбитой их подолами, долетали до Женькиных щек. Юлька тараторила не переставая, возбужденно размахивала руками.

– Лысый-то, лысый, здрасте, подошел. Ой кадр, не могу! Оля, гордись.

– Глупая ты, – улыбаясь, отвечала Ольга, – знаешь, как приятно, взрослый мужчина, воспитанный, не твой Валерик.

– Что Валерик? Видала парня в водолажке белой, слушай, а где Женька?.. Ну, этот, в углу всегда стоит.

– С усиками, что ли?

– Не, повыше. С Вагиной, между прочим, три раза танцевал.

– А где Женька?

– Женька! – громко, враз закричали они. Женька неохотно поднялся, вышел на тропу.

– Замерз? – обнимая его со спины, спросила Ольга. Тогда она была много выше его, Женька затылком ткнулся в твердую грудь и, резко вырываясь, буркнул:

– Не-а.

– Врешь, замерз, – с ласковым смехом поймала его она.

От Ольги цветочно пахло пудрой, руки у нее круглые, горячие, ногти мерцали светлым перламутром лака.

– Хорошо-то как. Хорошо-то, господи! – Женька затылком чувствовал, как поднимается от вздоха гладкое ее платье. – Луница, как арбуз. Да, Жень?

– Мать не ругалась? – деловито спрашивала Юлька и, не дожидаясь ответа, сообщала: – Я тоже водолазку хочу, только не белую. Вагина, между прочим, новый танец скакала...

– Он простой, я его запомнила. Смотри. – Ольга, отстранив Женьку, быстро выгнула руки над головой. – Раз-два, неудобно здесь. – Она скинула босоножки и звонко зашлепала: – Раз-два, раз-два.

Юлька разулась, внимательно повторила за ней.

– Да не так. Следи. – Ольга подтянулась и защелкала пальцами, легко пританцовывая.

– Дурацкий танец, – фыркнула Юлька.

– Это ты зря. – Ольга игриво повела плечом. Плавно подняла руку. Потом другую, сцепила пальцы над головой, вытянулась, извиваясь как змея.

– Ну, давайте, – шепотом пригласила она. – Юлька, че стоишь столбом?

Юлька пожала плечами, но включилась в игру. Она казалась неуклюжей рядом с соседкой – мосластая, прямая, с кобылей челкой, но чутье подсказывало ей в этот миг не гримасничать за Ольгой, а делать свое, и танец сестры был исполнен своей неуклюжей прелести. Женька, оробев, стоял на обочине, и недетское вначале, резковатое своей новизной и странностью, а потом стремительно-легкое, пронзительное чувство счастья словно поднимало его. Он, казалось, то отстранялся куда-то и видел издали, как чужое, этот ночной, отдающий густым ароматом клочок не знакомой ему земли, эту зияющую бездну звездного неба, под которой магически колдовали две прекрасные, лунные от серебристого вышнего света молодые гибкие ведьмы. То, очнувшись, почуяв черноземную прелесть болота, запах лопуха, он узнавал раскоряку Юльку в капроновой кофточке и соседку Ольгу, простую, смешливую, но всегда красивую и сердечную. Женька взвизгнул и столкнул обеих друг на друга. Юлька резко ухватила его за волосы и повалила на траву. Поднялась знакомая им троем пляшущая кутерьма с визгом и воем. Женьке доставалось больше, он изворачивался, сам толкал, выл от тычков, прыгал и лаял, как собака, и, наконец, отхватив такую затрещину, что искры полетели из глаз, ничком упал на землю.

– Все! – валясь рядом, выдохнула Ольга. Юлька где-то трепыхалась у ног. Потом они молча лежали на земле, отсыревшей, гладкой, напоминавшей лягушачью кожу.

– Глянь – че звезд! – выдохнула Юлька. Женька лег на спину, и как очнулся, Ольга обняла его, губами растрепав волосы...

Он вытянулся как-то сразу, за год. К четырнадцати годам был уже много выше Ольги, сухой, нескладный в отца и самый молчаливый в семье. Той осенью, в самом ее начале, вернулся из армии Сергей.

– Я его помню, – узнав об этой новости, оживленно сказала Ольга, – он у вас задавака большой.

Как-то Сергей мылся в огороде, мать, улыбаясь, поливала его водой из шланга. Сергей шумно и радостно кричал, растирая большими руками литую грудь. Женька сразу заметил Ольгу, мелькавшую в огороде, она сбежала с чашкой к кустам смородины и крутила головой в сторону Сергея. Ягода давно была собрана, Женька отлично это знал, они еще в августе вместе с Ольгой доедали ее. Когда брат отплескался, ушел, осторожно поддерживая впереди мать, Женька взял молоток, с силой забухал по водопроводной трубе.

– Что ты делаешь? – вырастая над ним, спросила она.

– Налаживаю, – обиженно буркнул Женька.

– Да! – соседка трепанула его за чуб. – Чего набычился?

– Ничего, – отвернулся Женька.

Начинался сентябрь, земля, хорошо прогретая и очищенная, пухло желтела под солнцем.

Проходя мимо с деланным равнодушием, глядя в сторону, Ольга вдруг ловко, как кошка, прыгнула на него. Женька не принял игры, напряженно стоял на месте. Она, дурачась, все-таки повалила его, тогда он с неожиданной для себя злостью грубо толкнул ее в грудь. Ольга упала на мягкую грядку, раскинула руки и засмеялась.

– Ты чего? – недовольно спросил он. Она не отвечала, смотрела на него снизу и не сдерживала смеха.

Женька, вздохнув, сел рядом и хрипло крикнул:

– Ну чего ты?

– Ой, глупый ты, Женька! – ответила она.

– Почему это?

– Да так уж... – Она отвернула голову и, пристально глядя на разросшийся куст шиповника, словно себе сказала: – А красивый у тебя брат...

На другое утро он встал рано, еще не светало, едва лишь поредел сумрак. Ночь прошла нехорошо, череда вязкой дремы с ознобной явью. Он вышел во двор, в огород с тяжелым предчувствием еще не осознанной, впервые только его касаемой, своей собственной беды. Сел на бревно лицом к болоту. Вокруг замирала такая тишь, глухая, единая, настороженная, что, казалось, кроме его дыхания, никаких признаков жизни. За огородами, в низине, сыро и белесо парило. Серая, без блеска утренняя роса уже напоминала близкий иней, и поздняя поросль под влагой зияла обнаженно, слабым, сквозным цветом.

«Сейчас начнется война», – обреченно подумал Женька, почуяв, как колко морозит в затылке. Казалось, все сжималось, пружинилось, таилось в этой гнетущей, большой тишине, и непременно все должно разрешиться чем-то сверхъестественным, взрывным.

– Сейчас начнется война, – повторил он себе вслух, и, словно от хриплых его звуков, дрогнул плотный низкорослый батун на единственно уцелевшей еще грядке. Женька глянул на небо, увидел просвет в облаках, стекавший нежными струйками, словно из решета, почуял морозцеватое движение воздуха у щеки, встал и пошел в дом. С этого утра у него началось то непрерывное вначале ознобное и судорожное, потом то сладкое, то полынное состояние первого его, тайного и, как он считал, преступного чувства, от которого у него не было ни сил, ни желания избавиться.

Наталья, заметившая болезнь сына, решила, что у него глисты. Она заварила большую чашку полыни и заставила выпить эту горькую отраву до капли. Женьку перекосило, но он не издал ни звука, забрался на чердак, до позднего вечера наблюдая в щель, как толкутся в огороде Сергей и Ольга. Сергей налаживал на зиму водопровод, а соседка делала вид, что убирает картофельную ботву. Женька хорошо видел, что это повод для того, чтобы повертеться ей на глазах у брата. Наталья вспомнила о сыне поздно вечером, нашла его на чердаке – посеревшего, с лихорадочно блестящими, глубокими, блуждающими глазами, решила, что сожгла ему желу-

док, и утром повела его к врачу. Та, осмотрев Женьку, пошептавшись с сестрой, выписала им направление к невропатологу. Врач «для психов», как назвала его про себя Наталья, пожилой, с прокуренными пальцами, выслал ее из кабинета и долго чего-то возился с Женькой. Когда Наталья вошла снова, он, опустив большой пупырчатый нос, с усталой печалью сказал ей:

– Ничего особенного, мамаша. Он совершенно здоров. Половое созревание. Это бывает у мальчиков.

– Какое еще созревание? – Наталья приняла слова врача как оскорбление и вышла из больницы с давно возникшим, но сейчас окончательно утвердившимся убеждением, что все врачи, кроме хирургов, паразиты и зря деньги получают.

Она три дня кормила сына сырыми яичными желтками, и только когда он съел обед с добавкой, успокоилась, забыв начисто про его болезнь.

Ольга сразу отстранилась от них с Юлькой, и Женька увидел ее словно издалека. Она повзрослела. Она казалась ему красивой, особенно волосы, темные и душистые тем же тонким и пряным ароматом, который пробивался сквозь ее легкие кофточки. Она уже не позволяла свободно задеть себя, облапить, как раньше, дурачась, держалась строго и говорила мало.

Женька начал следить за ней. Он все время старался застать их вместе с Сергеем или встретить ее у порога. Она замечала его ровно столько, сколько хватало, чтобы соблюсти приличие при матери, а потом, теряя всякий интерес ко всем, проходила в комнату Сергея. Постоянное ожидание ее обострило в нем слух, он мог в задней своей комнатке различать, как звякнула калитка, и услышать ее быстрый топоток по ограде, он помнил запах ее духов. И книги, которые она возвращала Сергею, он незаметно относил к себе. Когда она находилась в их доме, Женька, как заведенный, слонялся из угла в угол, отыскивая причину, чтобы войти к брату. Однажды он даже открыл тяжелые занавесы, но жесткий окрик брата остановил его у двери.

– Чего болтаешься? – Сергей бесцветным взглядом «пришил» его к месту. Женька растерялся, вздрогнул, увидел оживленное, порозовевшее Ольгино лицо, потом быстро перевел глаза на окно, и яркий солнечный свет ослепил его.

– Дела себе не можешь найти, – холодно продолжил Сергей, – иди к матери... Она найдет тебе работу.

Женька повернулся на месте и вышел.

– Охломон, – услышал он за спиной, – путается целые дни под ногами.

Женьку пошатывало, пока он добирался до сарая. Он кинулся в густое крошево прошлогоднего сена, услышал глухой, внятный бой сердца. Сначала мутное, мертвенное состояние тяжело сдавило его, он ни о чем не мог думать, только, не чувствуя боли, кусал руки.

«Какое он имеет право?» – горько пришло потом ему в голову.

– Ходит. Указывает. Холодный, как змея. Змеюка, питон, – злобно вслух произнес он и, еще раз закусив руку, нашел точное: – Удав.

Он лег на спину и с обидой стал думать об Ольге. «Купались вместе, встречал их, яблоки воровал для нее в томсоновском саду... Близкая была, родная была, дороже Юльки...» Тут он вспомнил, как однажды целовала она его, закатываясь смехом, он увертывался, брыкался, она ловила и целовала снова. Вспомнил, какие ласковые, легкие у нее руки, улыбнулся тихо и вздохнул. Он пролежал в сарае до темноты; стараясь не попадаться Сергею на глаза, прошел в свою комнату, сел рядом с Андреем на диван. Андрей никогда ни о чем не спрашивал его, но знал все. Он говорил, что у них одинаковые гены и потому все передается, Андрей не то чтобы не любил Сергея, он был равнодушен ко всем в семье, но старшего брата побаивался.

– Давай ему новый костюм испортим, – посоветовал он Женьке, – он же жадный. Во злиться будет. – Женька не ответил и лег спать...

Андрей научил его болеть. Женька изображал больного хроническим бронхитом, натирал о шерсть градусник до приличной температуры и шумно дышал при матери. Он знал, что Ольга навестит его, и с утра добросовестно заболел, потом, когда в доме никого не остава-

лось, кроме Сергея, ждал. Андрей, между прочим, сообщал Ольге о болезни брата. Она приходила, присаживалась на краешек кровати, улыбаясь, поправляла одеяло, клала возле его уха яблоко.

– Опять захандрил. – Быстро приглаживала волосы у него на голове, Женька ревниво смотрел на открытые в любую погоду, обтянутые эластиком острые в коленях ноги. Теперь юбки она носила короткие, они ей шли, у нее красивые ноги. Прикрыв глаза, Женька зорко высматривал гладко зачесанные за уши волосы Ольги и кокетливо выпущенную на лицо прядь. Эта прядь была почему-то особенно неприятна ему. Она была душиста, чиста, упруго и ровно завитая, блестящая, как змейка, и вздрагивала при каждом движении хозяйки. Ее нельзя было не заметить и не оценить, и тогда он невольно отстраненно оглядывал всю эту напряженно сидевшую на краешке кровати чужую женщину, с чужим, враждебно красивым лицом, вспоминал, что она сейчас встанет и уйдет к Сергею.

– Ну, не болей, – кратко советовала она и, подмигнув, улыбалась, – выздоравливай.

Дохнув на него горьковатым холодом духов, Ольга быстро целовала его и уходила. Женька только успевал заметить черную бабочку банта под ее затылком, трогал рукой место поцелуя и одиноко поворачивался к стене.

Однажды вечером, нечаянно увидев ее в окно их дома, он взял за правило возвращаться домой с игрищ огородами, чтобы на минуту заглянуть к ней в желтую комнатку, увидеть ее в коротком халатике, как она ходит, разговаривает с матерью, расчесывает щеткой волосы, долго вглядываясь в настенное зеркало. Вечерами у нее крупнели, загорались зрачки, лицо менялось, удлиняясь, словно она попадала в другое, не знакомое никому измерение. У ворот своей ограды Женьку всегда ждал Андрей, ничего не спрашивал, и они вместе возвращались домой.

Это случилось в августе, когда Ольга уже родила. Сергей женился, и в доме родителей стало скучно, суетно и постоянно не хватало чего-то. Ольга уже не сидела у них, забегала редко к Юлке, они быстро о чем-то переговаривались, видимо, о детях. Она еще строже держалась с Женькой, почти не смеялась и не замечала его.

С Андреем они заигрались до полночи, жгли костры на болоте, ночь стояла звездная, сочная, и, отойдя на два шага от огня, нельзя было разглядеть даже руки соседа, Женька привычно бежал по Ольгиному огороду, задевая о низкие кусты еще не собранной смородины, легко и с разбегу прыгнул на завалинку, встал сбоку окна, вглядываясь в теплый желтый свет. Ольга надевала ночнушку на голое узкое тело. Она стояла с поднятыми руками, распутывая наверху бледное кружево белья. Вечерний свет матово высветил всю ее фигуру, подобранную острую грудь с крупными сосками, светло-поросшие пухом прямые высокие ноги, пухловатую горку живота с откровенной низкой спадиной. Близко разглядев ее всю, ни о чем не думая, он шумно спрыгнул с завалинки, облизывая внезапно пересохшие губы. Прыгая, он успел заметить, что женщина вздрогнула и повернулась к окну. Женька поскользнулся на чем-то мокром и, больно цепляясь лицом о сырые кусты, пополз по холодной земле. Окно погасло, он увидел это, понимая, что она всматривается сейчас в сумрак огорода. Тогда он замер, чувствуя, как глухо колотится сердце. Было темно, холодно, стыдно. Он пролежал так долго, не смея подняться, бездумно оглядывая ярко мерцающее громадное небо.

Андрей ждал его у ограды. Подозрительно спросил:

– Ты чего так долго?

Женька ответил, что обирал смородину. Брат пожал плечами, но не поверил.

После этого случая что-то неприятно липло к его душе, он старался не вспоминать об Ольге, но не мог. Нагая, она назойливо вспыхивала в его сознании, особенно перед сном, когда, уже наговорившись с Андреем, Женька оставался думать один. Ольги он избегал, боясь себя выдать. Потом, когда он осознал эту ночь, как тайну, которая связывает его с Ольгой, ему стало легче. Он уже думал об этом постоянно и без стыда, но в ее окно больше не заглядывал.

3

Андрей вскочил сразу, сел на подушку, сонно помотал головой.

– Сколько время? – спросил он, не открывая глаз.

– Восемь, наверно.

– А ты че поднялся?..

– Снег выпал, – улыбаясь, сообщил Женька, – все завалило.

– Ой-ей, – недовольно поморщился Андрей. – Нам же к десяти сегодня. Женька, чтоб ты сдох. – Он упал лицом в подушку и застонал.

– Мать будила, не я, – неохотно оправдывался Женька, глядя в окно.

Андрей лег на спину, приоткрыл один глаз, посвистел.

– Все страдаешь? – ехидно спросил он. Женька не ответил, считая вороны следы на крыше сарая.

– Тоже мне, Дон Кихот. Что ты в ней нашел? Старая. Сухая, как столб.

Женька мрачно глянул на брата.

– Ну и дурак. Страдай до старости.

С годами братья становились совсем разными. Даже внешне они ничем не походили друг на друга.

Андрей рос невысоким, напористым, у него уже широко раздавались плечи. Он энергичнее Женьки, находчивее, уверенно работает короткими сильными руками, ходит быстро, тяжело ступая кривоватыми устойчивыми ногами. В школе ему дали кличку Босо. Он не лазил по огородам, не дрался с городской шпаной, не писал записок девчонкам, считая все это занятием для сопливых. Сейчас он первый ростовщик и меняла в школе. Он меняет японские ручки, открытки с подмигивающими гейшами, достает вошедшие в моду широкие брезентовые сумки. Он высчитывает по утрам, в каком магазине какой ценный товар должны выбросить на этой неделе, каждое воскресенье он спит на барахолке. Женька тоже ездил с Андреем. Андрей уверенно шнырял между рядами, даже подходил к продавцам, солидно выспрашивал, кивал головой, просил прикурить, потом отходил к робевшему от такой наглости Женьке и подробно объяснял, что за товар, какая ему настоящая цена и какой барыш получит с него фарцовщик. На этом все его операции по барахолке прекращались. Андрей очень аккуратен в отличие от Женьки, рубашки в магазине, если случается необходимость покупать, он выбирает себе сам, всегда имеет в наличии рубля три, но не жаден, особенно для Женьки, отдаст, не спрашивая, зачем понадобились. В Женькины дела он не лезет, но с детства заботливо опекает его.

– Мам, пожар картошки! – громко крикнул Андрей матери, потом встал, с хрустом потянулся, шлепнул плавками по животу. – Я б на твоём месте ей письма писал, – деловито посоветовал он брату, натягивая носки. – Вовка Киреев из 10 «б» Люське Агеевой письма пишет. Каждые два дня описывает, где он видел ее, в каком она платье была и что он при этом испытывал. Знаешь Люську Агееву? Классная девочка! Она эти письма всем читает. У них там по этому поводу диспуты ведутся. О любви и дружбе. К ней после уроков со всей школы девицы собираются обсуждать.

– Ну и что?

– А ниче. Киреев на суслика похож. Маленький, толстый. А ведь допишется. Я читал эти сочинения, – грызя большой палец, подытожил Андрей, – списывает.

– У кого?

– Подозреваю – у допотопных шелкоперов. Точно. А я думаю, что это он из библиотек не вылазит? – Он задумался, глядя в пол, и добавил: – Я бы такой мурой не занимался, конечно. Так вот, поройся в старых книгах и слизывай на здоровье. У Киреева одно письмо знаешь, как начинается? Драгоценная моя! Во, суслик, слямзил так слямзил.

- Я сегодня в школу не пойду. Скажешь – горло болит.
- У тебя в прошлый раз болело.
- Ну скажешь, мать белить заставила перед праздником.
- Женька, Андрей! – не на шутку рассердилась Наталья.

Женька спрыгнул со стола, прошел мимо брата, ловко ущемив его за нос. Андрей вывернулся, вскочил, повис у него на плече. На кухне Андрей с ходу сел на стол, отхлебнул чай из Юлькиного стакана.

- Ты когда-нибудь умываешься? – ядовито спросила Юлька.
- На себя посмотри, – в тон ответил Андрей, – сколопендра.
- Мам, как он мне отвечает!

Наталья подошла к сыну:

- Иди-ка штаны надень.
- Андрей зло дернулся, но пошел к себе.
- Женька! – гаркнул он через минуту.
  - Чего? – подойдя, лениво спросил Женька.
  - Джинсы, – коротко объяснил Андрей.
  - Андрюха, ну дай сегодня, а?
  - Обойдешься. У меня дела.
  - Какие?

Андрей оглянулся и, вплотную подойдя к брату, спросил:

- Никому не скажешь? Выдь-ка в огород на минуту. Я тебе покажу кое-что.

Он повертелся немного на кухне, потом нахлобучил отцову шапку и телогрейку и скрылся. Женька, дожевывая на ходу, вылетел за ним.

– И то снег! – довольно протянул Андрей. – Снег, Кузя, снег. – Он слепил весомый ком и быстро сунул его Женьке за ворот. – Закаляйся, – прихлопнул сверху на свитере и сбежал в огород.

Пока Женька, изгибаясь и морщась, вытряхивал тающие хлопья из-под свитера, Андрей протаранил ногами пол-огорода, навертев на нетронутую зыби глубокие рыхлые колеи. Женька кинулся на него, Андрей, ловко вывернувшись, широко расставил ноги.

– Спокойно, мальчик, – деловито подсказал Андрей, выставив вперед крепкую круглую голову, пошел на него, как бычок. От удара Женька упал, но, ухватив внизу ноги брата, ловко сдернул на землю. Они недолго барахтались в снегу, потом Андрей вдруг слабо попросил: – Жень, дай полежать спокойно. – Женька оставил брата, пошел к сараю. Андрей, глядя в небо, с удовольствием выдыхал влажный пар.

– Ну, че ты хотел показать? – спросил Женька, садясь на снег у сарая. Андрей хихикнул и ползком пошел к брату.

– К вопросу о половом воспитании, – подмигнув, сказал он. – Не смотри. – Андрей обошел сарай, выглянул из-за угла и еще раз погрозил. – Не смотри.

Из своего тайника он принес большой клеенчатый сверток, долго трещал замерзшей клеенкой, потом вытащил из целлофанового мешочка шкатулку. В шкатулке лежала аккуратная стопочка открыток, пара дорогих авторучек и колода карт.

Женька опешил, когда брат вытащил карты из упаковки. Это были не игральные карты, это была новенькая, отливающая глянцем, яркая колода открыток с голыми пляшущими женщинами. Слабеющими руками Женька перебирал карты, чувствуя, как жестким жаром горит лицо.

- Где взял? – робея, взглянув на брата, спросил он.
- «Фирма» работает, – довольно улыбаясь, ответил Андрей. – Я на этих красотках бизнес сделаю, – задумавшись, добавил он.

Женька опустился на землю, охапкой снега потер горячее лицо.

– Охота тебе... – Он помедлил, не зная, как назвать, потом с силой выдавил: – Этим заниматься.

– А не все ли равно, чем заниматься? Уметь надо деньги делать. Вахлячок ты у меня, Женя, – грустно сказал Андрей.

Женька лег на спину, как был, в свитере, но холода не чувствовал.

– Ну, что ты? Чего сник-то? – Андрей легонько ткнул его в бок.

– Да ну, противно, – поморщился Женька.

– Слушай, что ты из себя Христа изображаешь? – Андрей сплюнул. – Интересно, а зачем это ты соседке в окна пялишься?

– А ты видел? – вскочив, зло спросил Женька.

– Видел. В натуре, смотреть не противно?

Андрей не договорил. Женька неожиданным ударом сбил его с ног.

– Ты че, ты че? – вскакивая, взвизгнул Андрей. – Сбесился?

Женька ударил снова. Но Андрей был много сильнее и тренированнее брата. Он рассчитанно и умело врезал Женьке в лицо, тот отлетел к сараю и влип в скользкую холодную стену.

– Спокойно, мальчик, – отдышавшись, сказал Андрей и пошел к дому. Женька налетел на него сзади. Он бил брата куда попало, царапался, неумело цеплялся за Андрееву голову, Андрей отвечал зло, сильно, сшибал Женьку с ног, но тот поднимался и неукротимо шел на брата.

– Дурак. На кого лезешь, – бормотал Андрей. – Я же измолочу тебя, – и шурнул Женьку вниз по огороду. Женька плашмя прокатился, поднял голову, карабкаясь вверх. И тут Андрей, отрезвев, увидел бешеное, жалкое, в кровь разбитое лицо брата, в ярости перекошенные дрожащие тонкие губы.

– Женька, – простонал он, – что ты, Женька, я же не хотел...

– Уйди, – сухо прорычал тот, поднимаясь.

– Женя, Женечка. Ну прости. Я не хотел, Женя...

– Уйди. – Женька, пошатываясь, размазывая пятерней лицо, прошел мимо Андрея, потом обернулся и, презрительно сплюнув, бросил:

– Ты мне никто больше...

Он медленно открыл дверь, входя в дом. Юлька, все еще торчавшая на кухне в ночной рубашке, увидев его, закрыла ладонью рот и пронзительно завизжала:

– Мама, мама!

#### 4

К десяти часам утра в доме оставались только Наталья и Семен.

Мальчишки собрались в школу, но Наталья, вынося ведра, слышала, как шуршит сено на верху сарая и кто-то вроде ходит. Зная привычку младших прятаться на сеновале, она подозрительно прислушалась, потом крикнула:

– Эй, кто там? Вылезай! Андрей... Женька, уши надеру!

Никто не отозвался. Наталья хотела слазить проверить, но побоялась – молоко убежит на плите. Сейчас она, вспомнив об этом, торопливо вытерла руки фартуком и, раздражаясь подозрением, решительно вынула из Семеновых брюк ремень. В дверях она налетела на кого-то незнакомого, испуганно охнула, отпрянула назад. Сутулый, длинноволосый парень столбом стоял на пороге, пристально всматриваясь в нее нездоровыми мутными глазами.

– Здорово живете, тетенька, – хрипло сказал он, кашлянув в кулак. Наталья растерянно кивнула, выжидаяще остановившись у стола.

– Мне бы тетя Талю Дорошенку...

– Я...

– От Володьки, тетя Таля.

– Что опять, что? – болезненно охнула Наталья. – Сбежал, заболел... в карцере...

– В темной, – подтвердил парень.

Наталья обмякла вся, тяжело опустилась на лавку.

– Проходи, садись, – равнодушно приветила она парня, подняла фартук к лицу, не в силах сдержать стремительно возникшее в ней горячее до слез, памятное горьковатое волнение...

Володька досиживал шестой год. В семнадцать лет он, рослый, выгоревший под солнцем, в будней отцовской тельняшке, был первый верховода над всеми крайними парнями. Работать пошел рано – не хотел учиться. Шоферил на местной автобазе. К обеду Наталья всегда ждала его, оставаясь одна в доме. Подлетит к дому на машине – сигналит. Мать улыбается – кормилец приехал. Она любила посидеть рядом, глядя, как с аппетитом ест сын. Володька за столом выкладывал матери все поселковые новости, все рассказывал. Может, что с девчонками у него бывало, то и утаивал, а так, кому на работе премию не дали, кто с кем на улице подрался, кто ему что сказал – это Наталья знала. Он с детства был ласковый с нею. Сергей тогда в институте учился, подрабатывал вечерами, мать его не видела, да и не наговоришь с ним. Анечка уже с мужем жила. Младшаки сопливые были еще, с ними одна забота – во что одеть, чем покормить, обстирать да обмыть их, чертеныт, вечерами. Верилось почему-то, что Володька будет опорой ей в старости, вот когда рассосется семья, кто-кто, а она уже с Володькой только и будет жить. Мать не мать, а старый человек – всем обуза, а Володьке нет... С получки, бывало, с полными сетками домой бежит. Наберет ребятишкам сласти, отцу бутылку, матери – подарок. Однажды совсем угодил – заработал прилично, принес домой два кольца золотых. Семену широкое и печатное, Наталье – поуже, светят в коробочках солнечными переливками. Вот была радость. Это праздник был для Натальи. Она даже плакала в огороде тихонечко, когда все уснули. Так сладко, по-матерински плакала, как, наверное, только женщины и умеют. Вечерами Володьки дома никогда не бывало, но Наталья не беспокоилась, зная, что хоть сын часто бестолково горяч, но пакости никакой не сделает. Он всех бродячих псов по улицам собирал, домой нес. Собаки сворьем так за ним и бегали. Кормил их, йодом лишаи у кошек заливал. «Мамка, – говорит, – был бы я пограмотней, ветеринаром бы стал».

– Да иди учись, кто ж тебе не дает? Выучился же на шофера.

– Ну да, возьмут меня, дурака такого. Машина, она, железки на ней, – всякий выучится. Разобрал, собрал – опять поехал. А вот собери-ка кошку или меня. То-то!

Наталья и не сердилась. Она знала: в доме, где много детей, без живности не обойтись. Да разве не постыдилась бы она живого котенка при своих-то детях на улицу выбросить. Много ли ему надо – пусть живет. Раз приучил их человек подле себя – куда ж им деваться-то теперь, что они могут? И ребятишки скажут – вот мать у нас какая, жалости в ней нет, змея, скажут, подколотная, а не мать.

Но у Володьки была и своя сторона худая – дрался. Ну никого не пропустит, ни слова, ни взгляда не спустит. Особенно они с парнями крайней улицы не ладили. Соберутся ордой потемну, цепи на руки наматывают и идут друг на друга. И просила она, и грозила, и цепи прятала, ничего не помогало.

– Вот посадят тебя, лешака немытого, покусает локти, вспомнишь, что мать говорила тебе, да поздно будет.

– Мам, да кому я нужен? И без меня найдется, кого сажать. Мы же не взаправду деремся, а так, пугаем только.

Вот и поговори с ними. Научи их жить. Наматывает на руки цепи и идет, лбина, по улице, может, он и пакости никакой не сделает, а так, для форсу, – глядите, мол, какой я грозный. Дурак сопливый. От твоей угрозы кому наука – матери только слезы.

И то: пойти ведь некуда, в будний вечер ни к кому не сунешься, у всех хозяйство, дети, работа. Вот они и сидят по лавочкам, брэнчат цепями да под гитару глотки рвут.

А тут к Гальке Кривошеевой, одинокой бабе, известной пьянице, ходил женатый мужик. Давно ходил, к нему привыкли уже все – здоровались при встрече. И что они в тот вечер не поделили, только выскочила она на улицу – караул, кричит, убивают. Ребята, милые, спасите, Христа ради, меня. Бьет, проходимец, чем попада. Мужик за ней. Хватит ее за космы да об заплот башкой. А парни неподалеку на лавочке сидели. Подросли вовремя, измолотили бедного любовника от души. Короче, спасли Гальку Кривошееву. Жена мужика в суд подала. Присудили спасителям кому сколько. Володьке три года припечатали. Отсидел он почти полный срок, три месяца оставалось, и, черт его дернул, – сорвался. Сбежал. Встретили, обрадовались, застолье созвали. А ночью-то приехали и забрали, еще три года добавили. На первом суде словно только и увидела Наталья сына. Сидел он на скамье подсудимых, головастый, стриженный, глупый, – глазами так и зыркает. Жалко, горько, обидно. Ее мальчишка, сама под сердцем носила, сама кормила, купала, нос утирала. Как могла берегла, учила, распорядилась им. А вот судит его чужой дядя. Он и видит-то Володьку первый раз. Он знать его не знает. Он выйдет сегодня из суда, забудет про Володьку и вовек не вспомнит. А вот как он насудит, так и дело повернется. А мать родная тут ни при чем. Хоть закричись, хоть помри, пластом ложись – ничего не изменишь. «Дурачок, – подумала она тогда про сына, тихо плача, – и зачем я родила-то его, дурачка такого».

За шесть лет Наталья стала забывать прежнего сына, не гляди, что отсидевает рядом, сорок минут электричкой, и каждый месяц она к нему с полными сумками едет. У детей лишний кусок отнимает, а Володьке сбережет. Видела его часто, а привыкнуть к такому уже боится. Заматерел сын, грубый стал, появилось в нем что-то ухватистое, не прежнее, страшное. Ругается через слово, иной раз при матери такими матами завернет, аж сердце холодеет. Сейчас Наталья и не знает, как встречать его таким. Сын ли он ей теперь. А сын, сын. Куда деваться – сын. Покатилась жизнь Володькина. Переломалась. Галька Кривошеева, та недавно ехидно высказала – теперь ему от тюрьмы нет дороги. Так в ней и помрет. Раз пошла колесить кривая, он жить честно не будет.

«Чтоб тебе самой детей не видеть, не нянчить их, не радоваться над ними. Век тебе с чужими мужиками пробиваться. Помирать будешь, тварь никудышняя, чтоб тебе воды кружки, хлеба кусок никто не подал. Гниль человеческая...»

Не сказала так, подумала, пришла домой – и в огород к заплоту, и плакать не может. Так сдавило сердце, так сперло, вот нет силушки. Потом уж каялась, что так кляла. Ей, Гальке-то, и так не сладко, катится, как сухой лист по ветру. Ни детей, ни семьи. Полынь ненужная.

И все деньги тянет Володька, знает, что детей полон дом, а тянет. Последний год как с цепи сорвался. То задолжает, то проиграет, то проворуется. Из карцера не вылезит. Наталья уже в трех местах убирает. Она всю жизнь уборщицей. На прошлой неделе приходил какой-то мордастый, восемьдесят рублей отдала. Женьке на пальто берегла. А все равно теперь тянуться ей на Володьку до смерти. От него, может, все, кроме родной матери, отвернулись. На то и мать.

Деньги она передает вот так, через незнакомых людей. Уже привыкла, как уж они там работают – но знает, до Володьки все доходит. И в письме намекает – мол, привет передали, и на свидании скажет – порядок.

## 5

Парень, чуть пригибаясь, словно крадучись, снял шапку, сел на краешек стула.

– Чего он опять? – глухо спросила Наталья.

– Проигрался.

– Денег не дам, – неожиданно для себя резанула она. – Хватит сосать-то меня, не дитя он, не маленький, должен понимать, у матери без него табун... Много надо-то?

– Шестьдесят, – нехотя ответил парень.

– Не дам. Все! Нету моего терпения! Так и скажи ему. Закрылась лавочка. Вот если бы у меня была такая машина... Тебя как звать-то?

– Толя.

– Вот, если бы, Толенька, у меня была такая машинка, повертела бы я ручкой, она и нашла бы мне сколько надо. А нет ее у меня. Я вот своим горбом наворачиваю. Болеешь, не болеешь, а вставай и иди.

Наталья понимала, что зря она распинается перед чужим парнем, нету ему до того дела, но уже не смогла сдержаться. Жалко ей было денег. Честно признавала, жалко. Ведь как в прорву идет, и какие деньги, почти основная часть семейного заработка!

Парень равнодушно смотрел в потолок, потом встал и спросил:

– Так и сказать – нету?

– Так и скажи – нету. Все. Выдохлась, мол, мать, – отрубилась она и отвернулась к окну, утирая слезы фартуком.

Парень надел шапку и вышел.

«Тоже ходят, – обиженно подумала она на него, – стыдно сказать, на чем экономлю, молоко раз в неделю покупаю. Юлька вон дойная. Ей каждый день не только молоко, сливки надо, – жесточенно думала она, залезая в свой тайник в шкафчике, – тоже мое дитя, кровное». Парня она догнала уже за оградой. Сунула в его глубокую ладонь две двадцатипятерки.

– Ты ему, гляди, не передай, что я тут болтала, – строго сказала она парню. – Придет, сама все скажу. – Она еще долго смотрела вслед чужому, ходульно ступающему по снегу...

Заходя в избу, она быстро прихлопнула дверь, чтобы не входил холодный воздух, и увидела Семена. Долговязый, согнутый, он заглядывал в кастрюли, почесывая костлявой пятерней тощий голый бок.

– Проспался, – недовольно бросила Наталья.

– Ты, мать, что-то давно лепешек не пекла.

– Я вам напеку скоро. И напеку, и настряпаю. Вот сойду в могилу. – Наталья всхлинула. – Скоро уж вгоните...

– Чего опять стряслось?

– А ничего. Что меня спрашивать. Ты – отец, сам должен знать!

– Ну, разошлась, – примиряюще протянул Семен и, зевая, отошел от печи. Он еще хотел что-то сказать, но в это время в широко распахнутую дверь с Витенькой на руках осторожно вошла Юлька и, вытирая о половичок ноги, сердито начала:

– Я говорила вам, вчера надо было идти. А сейчас они не принимают перед праздником.

Наталья злобно грохнула кастрюлей.

– Зря только ходила, – капризно, словно виноваты родители, протянула Юлька. Потом за ней в дверь въехала коляска, ее катил Сергей. Он снял шапку, поставил толстый кожаный портфель на пол, спокойно поздоровался.

– Каждый день повадилась, – неожиданно брякнула Наталья, – и в будни... будто дома работы нет.

– И в праздник приду, – раздеваясь, равнодушно ответил Сергей. – Как живете-то?

– Отсюда не выводись, а как живем, не знаешь, – не останавливалась мать. – Лучше-то не живем.

Сергей, старший ее, первенец, похож на отца. Как все мальчики в доме, он белобрысый и рослый. Мать помнит, что у него, как и у Семена, всегда холодные острые пальцы.

– Лида-то здорова? – с подвохом спросила Наталья.

– Здорова, мать, – хорошо понял ее сын. – Молода, здорова. Привет шлет тебе. Вопросов нет?

– Что ж ты ее с собой не берешь! Ей, поди, обидно?

Сергей нехотя поморщился, не желая больше говорить об этом, и перевел разговор на другую тему:

– Карапуз-то ваш как?

– А чего ему делается? Юльке вон делать нечего, так она прет его по больницам. Мучает мальчишечку только. Простудит, тогда повоет. Не спит, видишь ли. Да ему и положено не спать. Он же не такой, как Семен, тот сутки дрыхнет, а мальчонка разве сможет всю ночь? Он же нежный, слабенький. Смотрела бы я, как вы спите, да не спите. Только бы по больницам таскала. Одна забота.

– Большого вреда не принесет, – холодно поддержал Сергей сестру и забарабанил пальцем по колену.

Наталья подозрительно посмотрела на колено и твердо поджала губы.

– Когда свой-то будет? – глухо осведомилась она.

– Будет, – оборвал мать Сергей и отвернулся к окну.

– Жениться еще не успел, а уж на сторону косишь. Думаешь, все с рук сходит. Вот, мол, мы какие умные, как хотим, так и воротим – оглянись, поздно будет. – Она хотела зло бросить: не нагулялся еще, кобель.

Но Сергей резко повернулся, коротко и холодно предупредил:

– Мама...

Слова застряли у нее в горле. Наталья словно за долгие годы вновь увидела сына. Сергей высоко, небрежно облокотившись, сидел на стуле, легко, по-городскому закинув ногу на ногу. На нем был дорогой черный костюм. По-модному острый, хорошо отглаженный ворот привычно отлагался наверху. Кисти рук длинные, ухоженные, умело сцепились у колен. Он сильно напомнил ей молодого мужа, но зрелая молодая сила, сытость, уверенность, что-то сильное, холодное, чуть свысока, чего никогда не было в Семене, различало их.

«Мужик уже совсем, – мелькнуло у Натальи в голове. – Тыркай его не тыркай. Они уже нас не понимают».

– Юлька! – крикнула она дочери. – Не разбирай мальчишку, погуляю я с ним по теплу чуток. Промнись пойду. Он у тебя совсем воздухом не видит.

Юлька, готовя мать к прогулке, терлась об нее, как кошка, ластилась, стараясь угодить, застегивала пальто и оправляла шаль, ребячливо прижималась.

– Погуляй, мамочка, побольше. А я поплю, ладно?

– Поспи, поспи. Да отвяжись ты, репей. Что я тебе, мужик, цепляешься. И рожают же такие еще. Сопля зеленая.

## 6

Когда Наталья с коляской скрылась из виду, Сергей, наблюдавший за матерью, закрыл ворота, встал, задумчиво глядя в огород. День не разгорелся, стоял сумрачный, но для ноября теплый. Снеговые разбухшие тучи ползли по небу. Болото таяло, темнело, только лесок вдали еще молочно и нежно светился. Он протоптал ногой ясной желтизны лист под зеленой жижицей снега, вдохнул влажный, крепко отдающий арбузом воздух. Потом подобрал палку, пошел к стайке. Раньше, до войны, здесь был их дом. Тесный, темный, здесь они с матерью пережили войну. Сейчас стайка покорежилась, ушла в землю, свиней давно уже не держат, и двери в стайку не открываются. На чердаке устроен сеновал.

Сергей постучал палкой по темной трухе бревен.

– Женька, – негромко позвал он, – вылазь, я тебя видел.

Он подождал немного и спокойно повторил:

– Женя, я влезу – хуже будет. Матери нет дома. Давай...

Женька вынырнул над ним и спрыгнул с чердака. Отворачиваясь от брата, он стряхивал с телогрейки сено.

– Кто это тебя так разукрасил?

– Упал, – буркнул Женька.

– М-да, – задумчиво покачал головой Сергей. – Ну, иди в дом.

– А батя?

– Иди, иди...

Пока Женька, приплясывая, отогревался у печи, Сергей, словно выжидая чего-то, водил пальцем по стеклу окна. Потом подошел к зеркалу над умывальником, потрогал себе виски и, глядя на Женьку через зеркало, спросил:

– Ты у Андреевых бываешь?

– Что мне там делать? – насторожился Женька.

– Сходи, – трогая «сосок» умывальника, приказал Сергей, – узнай, Ольга одна, нет.

– Зачем ты к ней ходишь? – резко выпалил Женька и прижался к стене.

Сергей обернулся. Испытывая, долго и молча смотрел в потемневшие Женькины глаза.

– Давай без вопросов, мальчик, – холодно ответил он, похлопал ладонью по карману, достал пачку сигарет.

## 7

– Степановна! Где ты там, Степа, – нараспевку протянула Наталья, одной рукой тарабаня в невысокую калитку, другой она придерживала тугой, уже зимний, сверток с Витенькой.

Иваниха вывалилась из двери, подслеповато шурясь от яркого дневного света, приглядываясь, подвалила к калитке.

– Здорово, подружка, – радостно приветствовала Наталья.

– Господи, батюшка, Талька! Каким ветром нанесло?

Иваниха быстро открыла калитку, приняла ребенка, пошутила:

– Да ты опять с приплодом.

– Опять, матушка. Мне этого добра видеть до самой смерти хватит.

Степановна, или Степа, как по отцу с молодости звали Иваниху, жила теперь одна, единственный сын ее летал где-то по Северу, муж после войны умер. Они были землячки, вместе росли, вместе уехали. Степановна, пока не потеряла форму, была похожа на мальчишку, бойкая, задиристая, она всегда хороводила вокруг себя молодежь. На родине она и получила за это кличку – Степа. Подруги поселились неподалеку друг от друга и замуж выходили в одно время. Только с годами виделись все реже.

– Оденься, Степа, постоим чуток.

– Ты гуляешь или дело есть?

– И гуляю, и дело.

Когда Степа, уже одетая, вышла за калитку, они присели на лавочку у ограды.

– Задохнется мальчонка-то. Укутала. Чай, не зима еще...

– Не задохнется, – думая о своем, отмахнулась Наталья. – Глянула бы ты на него. Может, испуган парень.

– А чего?

– Да не спит по ночам. То ли голодный... У Юльки молока – кот заплакал.

– Почему же так? – разглядывая розовеющего сонного Витюшку, спросила Степа. – Может, в бане ее сглазили?

– У них, Степа, сейчас один глаз. Ей вот скажи слово поперек, так позеленеет вся. На родну мать, как на вражину хорошу, глядит. Я уж молчу пока.

– Что ж, они совсем разлетелись?

– Может, и разлетелись. Она не докладывает мне. Пришла вот, разута, раздета, Витюшка на руках. Живет пока. Дальше не знаю, что будет. – Наталья вздохнула, помолчала, потом спросила: – Как поясница твоя, ноет?

– Ой, ноет, – махнула рукой Иваниха. – Иной раз, вот поверишь – нет, Таля, ровно каменка станет: ни согнуть, не разогнуть. А тяжелишша. Не приведи господь.

– Чем лечишь?

– Да грею все. Крапивой парю да кирпичом когда. А, – махнула она рукой, – все без толку. Все равно туда скоро. Там нас вылечат.

– Мы вот с тобой, Степа, уже лет двадцать все больше про болезни поем. А бывало, помнишь... Ты-то, ты-то чего сдала? Мне сам бог велел. Я, птичка, далеко не летала. А вот ты, могла бы за Морозова выйти. Он ведь полковник теперь. Живет так, как нам с тобой и не снилось, Степа.

– Чего говорить-то сейчас, – ответила подруга, – зря молоть. Бросил бы он меня все одно. У меня ведь, Таля, кроме языка, ничего не было, ни красоты, ни грамотешки. Представь-ка меня сейчас за полковником. Смех один. Что ж Юлька-то и алименты не хочет брать?

– Не знаю я, Степа, ничего не знаю. Ты меня про это не пытай. Сегодня ведь про твоих детей все, кроме тебя, знают.

– Это так, – согласилась Иваниха.

– Я вот раньше не замечала, подружка, а теперь, как погляжу – так за голову хватайся.

– Чего?

– Да вот чего. Ленивая она у меня. Думала, пройдет с годами. А нет. Гонять надо было, драть как сидорову козу. Глядишь, чему-нибудь и научилась бы. Белье замочит... веришь – нет, Степа, день мокнет, два... Юля, говорю, что ж ты его квасишь, состирни разок, и все. А она, знаешь, переполощет нестираное и вывесит. Юля, говорю, разве я так учила тебя или ты у меня видела, что я так делала? Она – некогда. Ну ты подумай! С матерью ей некогда. У меня их шестеро, Степа, и никакая мать не помогала...

– Да, да, да, – кивнула головой Иваниха.

– А мужики-то, знаешь, себе на уме. Это пока с ними фигли-мигли, пока гуляешь да любишься, он ласковый. А как сошлись, все: впрягайся, баба, и тяни. Они думают, сейчас не так. Так. И всегда так будет. Тяни и не вякай. Раз ему не сварила, другой не постирала... – Наталья перешла на быстрый шепот. – Он, видать, посмотрел, посмотрел да под зад мешалкой. Брынди, мол, у матери. Я бы, может, и пошла бы к зятюку, да стыдно. Возьмет он мне да ляпнет: как вы ее учили – не обстирает, не обогреет... То-то.

– Володька-то пишет? – спросила Иваниха.

– Беда с Володькой, – покачав головой, ответила Наталья. – Сосет он меня. Дососет, видать, скоро.

– Выйдет он в свой срок, нет?

– Сомневаюсь, – грустно покачала головой Наталья, – из темной не вылезит. Одиночка у них есть такая. За провинность. Он там наворочит, а я расплачиваюсь. Мальчишки обносились совсем. А купить нет возможности. Какая лишняя копейка завелась в дому, все к нему уйдет. Эти, думаю, как-никак в тепле при матери на картошке промнутся. Отпускные вот получила да отдала ему сегодня. После праздника опять на работу выйду. Какой тут отгул. Твой-то пишет?

– Пишет, – ответила Иваниха. – Одно слово в два месяца. Когда денег пришлет. Да и на том спасибо, Таля. Я до смерти как-нибудь промаюсь. Ребятишек вот несут, тому головку поправлю, тому испуг сгоню, тому сворожу – глядишь, всегда водится, на что завтра покушать.

– Я к тебе, Степа, не пеняй на меня, а за деньгами я. Дай полсотню. А после праздников я страховку расторгну, принесу.

– Ну об чем речь, – махнула рукой Степановна, – не бойсь, Таля. Будут деньги – отдашь. Мне ведь большой нужды нет.

– Ну вот и спасибо. Отлегло от сердца. Думаю, завтра народ сойдется, что случись – вина подкупить не на что. Да не то главное. Деньги-то я Женьке берегла. Обтрепанный ходит. Хотела ему куртку к зиме купить. Вот, думаю, обидится мальчонка...

– Не бойсь, не бойсь – будут деньги, отдашь, а страховку не трогай. Она к делу сгодится. Я подожду.

Пока Степановна ходила за деньгами, Наталья потрогала носик ребенка. Теплый. Значит, не замерз.

– Ну, спасибо, подруга, – принимая кредитки от Степы, призналась Наталья, – приходи завтра-то.

– Привалю, как не помру.

– Ну не помирай. Бог милостив, проживем еще.

– Однако проживем, – подтвердила Степановна.

## 8

Женька быстро взглянул на брата. Взял шапку и, сжав зубы, вышел. Единым махом он долетел до Андреевых, потыркал ногой в калитку. Взвыла андреевская собака, на лай вышла Ольга, молча отвела собаку в будку, открыла калитку. Женька слышал, как дробно стучит сердце. Он боялся, что не услышит ответа, у него бывало такое, когда от волнения он глож. Она сказала ясно, отчетливо, но он понял ответ, уже возвращаясь. Подождав немного после того, как Сергей ушел, Женька лихорадочно застегнул на себе батину телогрейку, надвинул на самые уши кожаную ушанку. В ограде он налетел на Андрея.

– Стой. Куда ты? – Брат жалостливо заглядывал ему в глаза. – Жень, ну ты это... Женька, я не хотел, правда...

Женька молчал и морщился.

– Ну прости ты меня. Хочешь, я их сожгу, честно, сожгу? При тебе.

Женька виновато посмотрел на брата, сглотнул слюну, махнул рукой и тихо подался к огороду.

– Женька, да что ты в самом деле?

Андрей ухватил его за плечо, но Женька вывернулся и исчез в огороде. Хлопая сапогами, он, пригибаясь, добрался до соседского заплота, осторожно пролез в огород, пробежал к знакомым кустам смородины, влез на завалинку и прислушался. Вторые рамы соседи еще не вставили, он хорошо слышал разговор, но его подмывало заглянуть в тускло блестящее невысокое окно...

– Не стой на пороге, дурная примета, – спокойно сказала Ольга, убирая со стола посуду. Сергей наклонил голову под низкой притолокой, шагнул в тесную свежeweбеленную кухню. Сразу с порога бросилось в глаза, как коробятся стены, клонится книзу печь.

– Повело домик. Скоро завалит вас, – негромко пошутил он.

Ольга не улыбнулась на шутку, да и слышала ли? Притерпевшееся и спокойное сквозило в серых ее глазах.

«Что ты тут выхаживаешь, друг Сережа», – усмехнулся он себе, подошел к ней ближе.

– Здравствуй, Оля. – Сергей выловил в воздухе ее руку.

– Здравствуй, Сережа. – Рука ловко, как рыбка, выскользнула в воздухе. – Какой ты красивый. – Она равнодушно улыбнулась, оглядев его. – Проходи, садись.

Еще год назад она не смогла бы молвить ему такой холодной любезности. Все еще ждала чего-то, встречала его часто у своей калитки, глядела вопрошающе. Как разительно переменилась она за этот год. Отяжелели лицо и фигура, как-то по-бабьи укрупнилось в ней все – и плечи, и грудь особенно выпирала из узких, немодных ее платьев. А главное, такая спокойная, ровная стать появилась в ней, что невольно Сергей думал – рожать бы ей без передыху, да за

мужиком хорошим, да за хозяйством большим. Одевалась она теперь совсем просто, почти плохо, всегда темное, наспех, и оттого что-то вдовье было в ней, проказливой ранее.

Она поставила на плитку чайник, потом, обернувшись к нему, вдруг грустно пожаловалась:

– Так несчастья боюсь. У женщин, наверное, срабатывает наследственная память. Знаешь, меня кошмары мучают. Вчера купала его, и представилось, что вдруг землетрясение полдома разнесет, на улице мороз, а он голый в горячей воде. Хожу накручиваю, накручиваю себя. То я бегу с ним под обстрелом. То он один в концлагере... Устраивали же фашисты такое для детей. Господи, ужас какой. Страшно до слез, а отвязаться никак не могу. Мать говорит, сходи в церковь, поставь свечку. Хоть иди и ставь...

Сергей кашлянул и промолчал.

– Проходи, чего торчать в кухне.

Она не первый раз признавалась ему в своих страхах. И каждый раз, выслушивая эту жалобу, Сергей убеждался, что она равнодушна к нему. Любящая женщина всегда помнит, что и когда она говорила любимому.

– Пройдет, – хрипло ответил он ей. – Просто ты, наверно, не спишь ночами.

Он встал и прошел в ее маленькую, похожую на все окраинные, очень теплую тесную комнатку с комодом, этажеркой, небольшой полкой книг. Остановился у покосившегося окна. На мгновение ему показалось, что в садике промелькнула тень, но он тут же забыл об этом, обернувшись к Ольге. Она отстраненно стояла в проеме двери, сложив руки на груди, глядела мимо, словно тоже вспоминая что-то.

– А славное место, – перебрав пальцами по подоконнику, сказал Сергей. – В городе я не замечаю неба. А здесь всегда небо есть. Жизнь здесь медленная. Спокойная.

Она опустело, неясно смотрела мимо него через окно, в серый высокий свет. Потом встряхнулась, буркнула:

– Подожди, я сейчас. – И исчезла.

«Да, – подумал Сергей, – бабы – счастливый народ, нет горя – найдут. И радоваться вроде нечему, а блажат, сияют, как дети».

Он сел на старый кожаный диван, черный, потресканный, взял томик с золотым тиснением на сером коленкоре. Открыл наугад и прочитал: «Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его» – и раздраженно отбросил книгу на диван. Откинулся на прохладную кожу спинки и закрыл глаза.

Прямо перед ним висело круглое настенное зеркало, которое он не заметил сразу. Сергей, усмехнувшись, оглядел себя. На него смотрел еще молодой, сухощавый, ухоженный мужчина с холодными белесыми глазами. Не было ничего лишнего в этом деловом облике. На нем все было свежо, чисто, со вкусом подобрано – югославский кримплен костюма, финский нейлон рубашки, английская булавка на галстук с небольшим чутко мерцающим алмазом, дорогой, без украшений, обручальный перстень на руке. Выбрит, спокоен, с той уверенной хладнокровной статью здорового, безошибочного, деятельного молодого человека. Он вздохнул и отвернулся.

Сергей, первенец Натальи, давным-давно отошедший от дома, никогда не нуждавшийся в нем, теперь, на тридцать шестом году жизни, все чаще, напряженнее ощущал в себе тошнотворную скуку и глухой провал пустоты в душе. Он не обольщался насчет большой любви к Ольге. Однажды утром, лежа на широкой своей, сияющей кружевом и белизной постели, рядом с женою, он открыл глаза и подумал: ну, должен же быть какой-то просвет в этой жизни. Хоть поток какого-то воздуха для него. Ведь не этого же он искал, ведь не этого же он хотел. Перед глазами у него проплыл весь предстоящий день, схожий, как капля воды, с другими. Спешка, корректура, подгонка материалов, правка, планерка. Его сотрудник с лицом и услужливостью клерка, умело льстивший и подражавший Сергею. Его он принимал на работу сам и

жену выбирал сам, и работу сам. Ему нужно было что-то прошибить, изменить в душе своей и жизни, и он вспомнил об Ольге.

Он, вернувшись из армии, долго не замечал ее. Она все мелькала перед глазами, но было не до нее тогда. Однажды он набирал воду в огороде, еще не отключили водопровод, хотя были уже первые осенние заморозки. Вода то застывала в трубах, то, гудя, прорывалась. Уже потом, после своей женитьбы, когда он думал о ней, вспоминал ее, частые встречи с ней, то заметил, что помнит подробно все, что тогда их окружало, где бы они ни виделись. В огороде он почти не встречался с нею. Вот и сейчас он отчетливо представил себе пустой огород с вялыми плетками ботвы, стекленеющие брызги воды, частый крик запоздавшей на озере круглой осенней кряквы. Нагнувшись, он понял, что кто-то наблюдает за ним сквозь щель заплота, но сделал вид, что не замечает, а когда проходил мимо, услышал раскатистый со стороны болота выстрел.

– Это городские стреляют, – вынырнув из-под забора, сказала она. – Здесь утиный выводок живет. Так жалко. Они совсем маленькие еще.

Сергей оглядел ее. Невысокая смуглая девочка-подросток в трико, закатанном до колен, спортивной висевшей на ней майке, худая до синевы, с некрасивым острым лицом.

Через два дня она пришла к ним, долго о чем-то шепталась с Юлькой, прежде чем войти в его комнату, попросила книгу. Тогда у него уже была небольшая домашняя библиотечка, двадцатка потрепанных книг, частью заимствованных из библиотек, частью купленных. Детективы и фантастика. Сергей, не спрашивая, что она хочет почитать, встал к узкой этажерке, выбирая. Когда он, обернувшись к ней, протянул затрепанный том, кажется, Беляева, то увидел, как она некрасиво и ярко накрашена. Брови были размалеваны густым черным карандашом, так же подведены глаза.

– Сходи умойся, потом будешь читать...

Он улыбнулся, глядя на нее свысока. Ольга внезапно вырвала из рук книгу, коротко царапнула его глазами, накрашенные, они неестественно, как у кошки, загорелись. Потом она всегда приходила к нему, подолгу выбирала книги, задавала много вопросов, сама не говорила ничего, только сидела и, наострив серые жестковатые глаза, слушала. Она была чутким и смышленным слушателем.

А Сергей в ту пору жил один, жил сам, без друзей. На журналистику он попал случайно, трезво оценив свои способности в математике. В школе его хвалили, но Сергей понимал, что у него просто трезвый склад ума и многого он не сделает в этой области. Да и время было упущено, а на журналистику со своей золотой медалью он попал без всяких хлопот. Учился охотно, заполняя пробелы в гуманитарных науках, к которым был равнодушен в школе. Спокойно слушал просвещенный щебет суетливых своих сокурсников. Ничто не трогало, не волновало его всерьез. Он получал повышенную стипендию и подрабатывал где мог. Ольга, еще школьница, безотцовщина, хулиганка, сентиментальная до крайности, заинтересовала его просто как объект воспитания. Сергей любил воспитывать. Строго отбирал для нее книги, требовал пересказа прочитанного, учил ее одеваться, правильно говорить, не вскрикивать и не срываться с места по любому поводу, отучал от местного жаргона. В это время у него была связь с женщиной много старше его, холеной, хорошенькой, пухленькой, женой начальника какой-то автобазы. Он оборвал эту связь, как только она стала обременительной для него. Сергей очень удобно жил. Семья скучилась в доме, освободив для него большую комнату. Наталья сама не беспокоила сына и запретила младшакам за чем-либо соваться к нему. Сергей собирал свою библиотеку, смонтировал себе турник на полянке за огородами. Каждое утро бегал до самой реки, сквозь лесок, по веселой витой тропке. Бежал и чувствовал, как живет, пружинит, молодой отрадой играет здоровое, ходкое, поджарое его тело. Отдыхая у реки, у студеной, с изумрудным высверком воды, Сергей глядел в небо и думал, что благодатно и мудро устроила его природа. Все нравилось ему в себе – и тело, и то, что он объективно оценивает жизнь, значит, неглуп, и желания его, и надежды тоже неплохи. Сергей вздохнул, подошел к окну. Да,

она была крепка, разумна и казалась немислимо долгой, эта жизнь в самом ее начале. Сергей обернулся, вновь увидел себя в зеркале и едва не ударил по нему. Потом сел на диван и вновь наткнулся на зеркало.

Тогда он завесил его Ольгиным платком, попавшимся под руку. И тут же вспомнил, что зеркала завешивают при покойнике. Сергей сорвал платок, снял зеркало со стены и осторожно положил его на пол в углу. Сел на диван, нервно постучал пальцами по колену.

– Ты не скучаешь? – из комнаты спросила его Ольга.

– Скучаю, – ответил он.

– Возьми с полки альбом с фотографиями. Там, между прочим, ты тоже есть.

Сергей достал с верхней полки этажерки альбом и стал его разглядывать. Действительно, в альбоме было много его фотографий. Вот он мальчишкой, белобрысый, тощий, в продранном отцовском свитере. Широкий ворот у шеи сколот булавкой. Сергей улыбнулся. Он вспомнил, что его сфотографировал одноклассник, когда Сергей торговал черемшой. Его мать послала торговать черемшой. Он делал это с удовольствием. Вот он по окончании школы. Ах ты, какой милый, застенчивый мальчик! Вот после армии. Рядом фотография Ольги. Круглое, ясное лицо с живыми, любопытными глазами. Ветка сирени в руках. Ах уж эти ветки-веточки... Сергей не любил сентиментальности. Может, эта черта в Ольге ему больше всего не нравилась раньше. Он не мог относиться к ней серьезно. Что же влекло его сейчас в этот дом, где ему давно не радовались?

Иногда, наблюдая за этой пополневшей, простоватой, на вид спокойной и уверенной женщиной, Сергей терялся. Точно ли она была влюблена в него когда-то? И можно ли так быстро и сильно измениться... Сергей перевернул лист альбома и недовольно поморщился. На его обороте была приклеена одна только свадебная фотография Сергея. Он – веселый, свежий, в черном костюме. Рядом Лидия, рослая, современная, с букетом роз в руках. Сергей впервые заметил, что на этой фотографии они похожи с женой. По народной примете – проживут всю жизнь вместе.

Сергей захлопнул альбом и положил его на место.

Проживший многие годы в сознании своей правоты, в незыблемости и нужности жизненного своего пути, Сергей давно начал терять когда-то стойкое и трезвое душевное равновесие. Недавно ночью он проснулся от стука в окно. Он вскочил, подошел к окну и увидел, как, вращаясь, исчезает в лунной зыби какая-то птица. Сергей открыл балкон и вышел. Птица еще продержалась какие-то минуты там, вдали, под млечным полумесяцем, и наконец словно растопилась в горячем его переливчатом свете.

«Ворона», – подумал туповато Сергей, сел на приступок балконной двери. В городе вершился май. Еще вчера холодный и тусклый, с промозглым, нездоровым ветром, сейчас он был теплым, в стоячем воздухе тяжеловато и душно пахло цветущей черемухой. Спокойный лунный свет, от которого чуть обмякла, отогрелась словно, чернота ночи, искрился везде. Сон пропал у Сергея, голова вдруг заработала трезво, словно включившись автоматически.

«Да, – с иронией подумал Сергей. – Какая-то ведь примета есть, когда птица в окно стучит...»

Лидия спала в комнате. Сергей на цыпочках прошел в боковушку. Спать ему все равно не хотелось, и он подумал, что можно бы немного поработать. Сергей захватил из редакции небольшой свой материал, который ему завернули на днях. Не совсем завернули. Сделай, мол, правку погубче – и пойдет. Сергею было жалко этого материала. Он работал над ним тщательно и серьезно, оттого материал вышел тяжеловатым. Сергей вздохнул, вспомнил деловитое выражение на лице редактора, когда говорили об этом материале, взял ручку и с отвращением к себе начал править. Потом он тщательно перечитал материал. Положил ручку на стол и выключил лампу. Подошел к окну. Светало. За время, которое он работал, расцвели яблони, и молочно-дымчатый нежный дивный свет струился от деревьев.

Сергей посмотрел в небо и вздрогнул. Под померкшим теперь полумесяцем вновь возникла птица, взмахивала крошечными крыльями и вырастала, приближаясь. Потом она пролетела над пятым его этажом, черная неприятная ворона с клювом, напомнившим Сергею топор. Сергей отошел от окна, и отвращение к себе перекинулось на Лидию. Жена спала. Крупная, жестковатая, сдержанная и, в общем-то, чужая ему женщина спала в одной с ним комнате. Он позавидовал хорошему сейчас, по-детски довольному ее лицу. Где, в какой дивоте блуждала сейчас она? Такое выражение почти не бывает у жены на лице днем, в жизни. Он снова заметил, что ступни ее слишком крупны и красноваты, заметил бородавку под мышкой, отвернулся и пошел на кухню.

«Какая глупость, – холодно подумал он вдруг. – Сходятся двое совершенно чужих людей, чтобы жить вместе, видеть бородавки друг у друга, пить-есть, говорить, и все это на всю жизнь...»

Сергей скривился и зажал себе рот, чтобы не думать дальше. Ему не в чем было упрекнуть Лидию. Сдержанная, воспитанная, выросшая в обеспеченной, он бы сказал, несколько бургерской семье, она умело и охотно вела домашнюю работу. В ней, может, немного не хватало тепла, но ведь они были схожи друг с другом... На первом году их совместной жизни Сергей понял, что равнодушен к жене, его былая влюбленность растаяла, как дымка. На втором году равнодушие изредка переходило в отвращение, особенно когда Сергей был недоволен собой. Он понимал, что она ни в чем не виновата, и ничего не мог с собой поделать. «Тайна сия велика есть», – как говорила иногда Наталья.

Тем утром он уехал передохнуть к матери. Наталья удивилась его приезду, хотя с тех пор, как начал работать в газете и женился, почти не бывал в доме своих родителей. Забыл и об Ольге. Наталья обрадовалась ему и с ходу, с порога сообщила:

– Сергей, Ольга родила нынешней ночью мальчика. Чуешь?

– Я тут ни при чем, мама, – холодно бросил ей в ответ Сергей и пожалел об этом. Наталья побледнела, поставила на стол чашку и пошла в комнату плакать.

Сергей разделся, нервно постучал каблуком по полу. Нигде ему не было покоя, и пошел к матери.

– Мам, ну ты прости. Ну я ведь не хотел.

– Сергей, – тихо сказала ему Наталья. – Ты у меня первенький. Самый голодный рос... Может, ты поэтому нас так не любишь...

– Ну почему не люблю! Почему же я не люблю, мама?! Ну, что я сказал-то такого?

– Володька пишет, что все твое вырезает из газеты. У него уж папка какая-то там собралась. Хвастается он тобой. Сереж, почему ты не напишешь ему никогда? Ты что, гребуешь братом?..

Его все чаще тянуло этим летом в родительский дом. Ездил он сюда каждый день и всякий раз видел Ольгу. Однажды на работе он поймал себя на мысли, что думает о ней весь день. Только о ней. С тех пор он перестал врать себе, что едет к родителям. Он стал ездить к Ольге.

– Еще немного, еще чуть-чуть, – нараспев успокоила она его и появилась наконец сама в проеме двери.

– День разыгрался, слушай. Ты помнишь, какие снега лежали года три назад перед праздником. Да к тебе еще друг тогда приезжал на праздники, Саврасов. Смешной такой. Он, по моему, добрый. А?

– Ты много работаешь, у тебя вид утомленный, – перебил ее Сергей.

– Разве это работа, Сережа? Это радость бабья. Забавушка. У матери вот руки болят. Нигде не могу достать облепихового масла.

– Давай уедем, – неожиданно и громко предложил Сергей и заволновался. Он почти не испытывал волнения раньше и, быстро собравшись, подавив в себе неприятное это чувство, твердо и решительно повторил:

– Ольга, я серьезно, слушай. Давай уедем. Куда скажешь. Куда решим.

Она помолчала, складывая вдвое полотенце, с каким вошла.

– От себя ведь не уедешь, Сережа. – Она покраснела.

Он подумал, вдруг сейчас заплачет. Но Ольга только вздохнула и, посмотрев в окно, сказала:

– Все мне кажется, что кто-то шебуршит возле окон. Ты прости, я быстро-быстро разве-шаю белье, пока солнце. Скоро чай будет готов. – И так же мгновенно скрылась, как появилась. И кстати. Сергей должен собраться с мыслями и поискать нужные сейчас слова. «Дурак, – сердито подумал он о себе. – Женщинам вначале говорят о любви». А что бы он мог сказать ей?

– Оля, – громко сказал он. – Ты можешь смеяться надо мной, – я пришел к выводу, что жил до сих пор чужой жизнью.

– Сережа, говори потише. Сашка проснется, его потом не укачаешь... – Он заподозрил, что она плачет на кухне.

– Оля, мы должны жить вместе. Ты любишь меня?

– Я выгорела, Сережа, – ответила она ему из кухни. – Во мне уже ничего не осталось.

– Ты маленькая, глупенькая девочка. Ты должна слушаться старших...

Она молчала. На кухне.

– Оля, я очень серьезно все говорю. Если ты мне не поверишь, я, может, даже не смогу... – Сергей вздохнул. Ах, он не любил сентиментальности. Но пересилил себя и досказал: – Жить. Почему ты молчишь? Иди сюда.

Она вошла в комнату с заплаканными, покрасневшими глазами.

Он встал, обнял ее и, горячо дыша в близкую ее смуглую шею, заговорил:

– Уедем, Оля. Бросим все. Да мне и бросать нечего. Только ты и остаешься в жизни. Мы хорошо будем жить. – Он заглянул в ее лицо и заметил, как оно жутковато и удивленно вытянулось. Оглянувшись к окну, он увидел тесно прижатый к стеклу побелевший Женькин нос и неестественно широко раскрытые испуганные его глаза. – Боже мой, – сквозь зубы простонал Сергей и, оттолкнув Ольгу, выбежал на улицу. Со двора он в одно мгновение вылетел в огород, сорвал за шиворот ослабевшего брата с завалинки и стряхнул его на землю.

– Что ты делаешь! – наклонясь, крикнул он ему в лицо. – Что ты делаешь. Мерзавец... Это гнушно. Ты понимаешь – это гнушно...

## 9

Женька лежал распластанный на земле, тупо уставившись в сырое серое небо.

«Вот и все», – подумал, глядя, как расплзается, теряя грязные барашки, корявая, под-свеченная солнцем туча. Он не слышал никакого шума, ни шагов Сергея, ни ветра, ни соб-ственного дыхания, понял, что оглох, и не пытался встряхнуться, чтобы прорвать эту непро-ницаемую пленку, отгородившую его от мира. И лишь когда он увидел высокие колени узких Ольгиных ног, страшное и ясное сознание действительности просторно отрезвило ему голову. Он понял все, о чем они говорили с Сергеем у Ольги, и эта жестокая правда, открывшая ему глаза, казалась непереносимой. Жизнь его теряла силу. Даже в той необходимости встать, пойти, так же разговаривать с братом и матерью не было уже никакого смысла. И само слово «жить» было таким чужим, могучим и уходящим в сравнении с тем, что ему предстояло делать дальше, потому что он терял Ольгу, а с ее уходом распадалось то радужное, пронзительное, свежей горечи чудо, которым был наполнен каждый его день. Он видел, что она склонилась над ним, что-то испуганно говорила, но не слышал, и она быстро, оглядываясь на него, ушла. Потом ему показалось, как что-то шуршит над головой, он поднял глаза и понял, что от ветра шевелится на тополе одиноко скрюченный хрупкий последний лист.

10

Обедать сели поздно, и к столу вышел свекор. Наталья не удивилась. Обычно еду Андрей уносил к деду в комнату, но перед праздниками семья собиралась вместе.

– Садись сюда, дедок, – показала Наталья у окна и угодливо пододвинула старику стул. Семен хитровато хмыкнул и, глядя на Сергея, осторожно выставил из-под стола бутылку белой водки.

– Это на какие же средства? – рассердилась Наталья. – Не уголь ли ты мне пропиваешь?

– Ну, будет, мать, – вяло успокоил Семен, – не порть кайфу. Кто празднику рад, тот за неделю пьян, правда, сынок? – Он с удовольствием потрепал сидящего рядом Андрея.

– Я дал деньги, мам, – негромко бросил Сергей.

Наталья в сердцах ухватила Семена за жесткий седоватый вихор на затылке.

– Каждый день поливаешь.

Семен охнул от неожиданности и, расценивая трепку за грубоватую ласку, ущипнул за бок, облапил и притянул к себе.

– Что ты меня срамишь при детях-то, каторжник? – испугалась Наталья и жарко, до слез покраснела.

Женька лежал ничком на диване, сказавшись, что упал с сарая, ушиб голову и встать не может. Сергей молча поднялся, подошел к Женьке и взашей вытолкал его к столу.

– Садись. – Он показал ему на стул рядом с собой, но Женька вывернулся и, ощерившись, как волчонок, бледный, горячий, обошел стол и сел напротив старшего брата подле Андрея.

– На ребенке лица нет, – заступилась за Женьку мать. – Какой ты, Сергей... – Она от возмущения даже не смогла найти слово, потом выпалила: – Бездушный. Жалости в тебе ни на грош нет.

Сергей молча взял бутылку и содвинул к себе все рюмки.

– Я сжег карты, – шепнул на ухо Женьке Андрей. – Женя, я сжег их. Только ты молчи, понял? Никому...

– Чего шепчетесь за столом? Каки-таки секреты? – насторожилась мать.

– Ниче мы не шепчемся. – Андрей отодвинулся от брата и деловито спросил: – А мы будем пить?

– Водичку, – съязвила Юлька.

К обеду Наталья натушила картошки с мясом, поставила большую чашку на днях засоленной, еще хрусткой, свежей на вид сочной капусты, нарезала холодного, пахнувшего чесноком сала и, махнув рукой, достала главное свое угощение на завтра – большую банку тихоокеанской селедки пряного посола, которую раздобыла еще в сентябре по случаю и берегла к празднику.

– Я до войны эту селедку ведрами возил, – попробовав рыбу, сообщил Семен. – Тогда с нее жир таял. Возьмешь ее за хвост, а он так каплет. А ваши дети и знать не будут, что такое рыба.

– Узнают, – с полным ртом убедил Андрей, – они ее по биологии изучать будут. Как вымерший вид. Мы же знаем про динозавров.

– Вот-вот, книжками и будете питаться. Вся радость ваша в книжках будет, – сердито подсказала Наталья, – как руки приложить – упаси господи, – только мы, старики, и кряхтим еще, привычные. Ну ладно, мы с отцом по деревням росли. Нас не учили, спрос, так сказать, невелик с нас. Но ведь мы чем жили, то знали. Когда хлеб сеять, когда жать, знали, когда какую траву косить, какую ягоду собрать, как хлеб испечь – все ведь сами умели и знали. Вот спроси у отца, он тебе про любой цветок, про любое дерево расскажет. Дом он этот, считай, один строил, сам, за небольшой помощью, и печь сам клал. А вы че умеете? Че вы знаете? Вам и

не жалко ниче. Ни лес, ни птиц, ни травы никакой. Сорвались в воскресенье, вылетели вон в тайгу, надрали, наломали, нагадили – и опять в свои клетушки. За четыре стены. Там ни печь топить, ни воды возить не надо. Не люблю я эти клетушки до смерти. Не пойду туда никогда.

– Нам и не даст никто, мать, – подсказал Семен, – кто нам даст квартиру-то? Чего ты кипятишься, разошлась чего, мать? Давай-ка лучше выпьем.

Выпили все. Мальчишки – воду, взрослые – по рюмке водки.

«Сейчас чего не жить», – грустно подумала Наталья, глядя, как быстро мелькают вилки. Она вглядывалась в лица детей, словно они съехались к ней после большого перерыва. Вот ее семья, люди, для кого она жила, для кого работала, с ними радовалась и плакала. До чего у нее дети все разные. Вроде от одного отца, из одной матери, а по-разному живут и думают и в разные стороны глядят. Нет, видать, несильно в человеке материнское начало, руководит им другая сила, что-то иное, высшее разбивает ее детей на добрых и злых, ленивых и работающих, заставляет их совершать разные поступки, по-своему складывает их судьбы. Всех одинаково учила тому, что знала сама: что надо работать, всегда, всю жизнь, в этом только и правда, а Юлька вон до чего ленива, а сама уже мать. Учила жалеть других: кошку ли, собаку, человека ли – все живое едино. А Андрей недавно кота приبلудного повесил на столбе. Говорила, что сила в детях, жизнь. Сергею вон за тридцать, а не хочет дитя своего. Вот ведь, не от матери с отцом, не от яблони, у чего-то другого, каждый у своего учатся, тянутся к тому, узнавая свое по особым, никому другому не ведомым приметам. Как-то еще жизнь у них сложится, как потечет. Ее поколение жило проще, кучнее, воевало, голодало, строило – все познало. И за ними все придется. Выросли без войны, не знали голода, но, пока жив человек, беда за ним тенью, не отстанет, в полный рост покажет свою силу. Вон какого оружия понаделали. Одной бомбы на город хватит. Знать бы да ведать, как их сберечь, защитить, отвести беду от них, как ни устала, а еще бы одну жизнь прожила для этого. Но ведь верила она всегда, как бы чувствовала, что ее мать, им бабушка, не покинула ее совсем в лихолетье, как будто за спиной стояла, даже во сне приходила. Чувствовала вот Наталья, что ее мать и там бережет, так и она, Наталья, не оставит своих детей, не уйдет совсем, в них ее материнское бессмертье.

– А вода живая, – прервал ее мысли Андрей, – в ней те же соли, что и в нашей крови. Особенно в морской воде. Вот если кровь морской звезды заменить водой из океана, то она все равно будет жить.

Семен, запивавший водой картошку, поставил стакан на стол и горделиво повернулся к Наталье.

– А ты говоришь, что наши дети ничего не знают. А? Это тебе не печь класть.

– Это не знания, – холодно оборвал Андрея Сергей. – Это информация. Обвешался ею, как папуас перьями, и сует ее к месту и без места.

– А че я сказал-то? – запальчиво оправдался Андрей.

Сергей не ответил, задумчиво вглядываясь в Женьку.

– Конечно, живая, – желая сгладить холод старшего сына, поддержала Андрея мать. – Раз ею все на земле питается. Все живет ею. Как не живая...

– На земле все живое, – неторопливо сказал Сергей.

– А камни? – возразил Андрей.

– Чему вас только в школе учат! – рассердился старший брат и повернулся к матери.

– Мам, подай соли.

– Жень, ты чего не ешь, сынок? Вот возьми картошки с луком, сало... Ешь, ешь, силы больше будет. Девки любят сильных. Вон у пожарничихи бугаи растут – страсть. А мои все горбыли, будто я вас на сухом хлебе держу!

– Это моя порода, – удовлетворенно заметил Семен. – Мы, Суворовы, сухостои, нежоркие. Я в сорок третьем рядом с хохлом кормился в госпитале. Тот рожу поднаел – будь здоров, а я грамма не прибавил...

«Ох, Вовка, Вовка. – Мать внове, оглядев застолье, вспомнила о горьком своем сыне. И загудело, занялось на сердце. – Сидеть бы тебе за этим столом, рядом с родными. Ведь не хуже других рос. Ладный да памятливым. А теперь сидишь там на холоде да на голоде. Волк, волк, чистый волк, сыночек мой ненаглядный, кровиночка, росточек горьконький. И праздник-то, наверное, не дадут справить. Не достоин, скажут. Не наш, отщепенец». Наталья, не сдержавшись, взрыдала разок.

– Мам, да ты что, мам?!

– Ну, старая. Не дело – праздник портить.

– Не дело, не дело, – быстро согласилась Наталья, вытирая слезы. – Сережа, плесни-ка мне еще глоток.

– С ума сошла, сопьешься, – шутливо встревожился Семен.

– Но на пару с тобой, – шмыгнув носом, ответила Наталья, а сама задумалась.

– За тебя, сыночек. Мать я тебе, Володька. Только выйди ты из лихоты этой. Я тут плашмя лягу, изведусь, а поправлю тебе жизнь. – Наталья до дна выпила и замотала головой.

– Во – мать-то у вас, видали?.. Лады! Тогда и мне плесните.

Женька сидел все время молча, исподтишка оглядывая мать и отца. Он словно впервые увидел, какие они старые. Отец совсем седой, смешно моргает глазами. Когда ставит на стол стакан с водой, то его рука чуть дрожит, чтобы скрыть это, отец сразу прячет руку под стол. И мать, которая никогда не имела для него плоти, но только запах: знал тепло ее рук, живота, когда прижимался в детстве носом к ее переднику, – оказалась почти старухой. Жалость захлестнула его, и еще новое, неведомое ранее чувство – чувство родного дома пронзительно осознал он сквозь жалость. Словно вот он, Женька, открыл глаза и увидел свою семью: мать, отца, братьев, сестру. И он связан с этими людьми какой-то внутренней своей сутью, кровной и неразрывной. Все, что есть в них и в нем заложено, только проявилось по-другому. Он вспомнил, что он знал уже когда-то это чувство в раннем своем детстве, и осознание его тогда было дремотным, ласковым, надежным и постоянным. И какая радость это, и тревога: и дом, и огород, и болото за домом, и заплот в лопухах, и кусты смородины, и крапива в палисаде... Сейчас ему хотелось остаться и жить в этом доме всегда, всю жизнь, и не выезжать отсюда никуда. И Ольга, Ольга...

– Продали бы вы эту развалюху, – словно угадав его мысли, резанул Сергей. – Я бы помог немного, да покупайте кооператив. Сколько можно здесь горбатиться? Поживите по-человечески...

– Да, да, – погрустнела Наталья, – толкуй мне про квартиру. Вот он, – указала она на стены, – тридцать лет простоял. Здесь вы один за другим родились. Здесь ваша бабка померла. Здесь и болели, и плакали, и учились. Как бы вас потом ни мотало по свету, а есть у вас место, из которого вышли и которое всегда приютит вас и обогреет.

– Родовое имение, – улыбнулся Сергей, печально оглядывая стены.

– Да, да. Не смейся. Родовое... Не хлебал еще жизни-то. Не понял. Другие, пока растут, эти клетушки пять раз сменяют. Все лучше ищут. А чего они вспомнят, когда вырастут? Был у них дом? Угол родной? Земли кусочек? Не было. А это тоже для человека много значит.

Все замолчали. Андрей с усердием уплетал вторую чашку картошки, Юлька вылавливала из своей мясо и брезгливо жевала. Свекор спал, откинувшись на спинку стула. Семен суетился, стараясь встрять в разговор, подходила его очередь владеть общим вниманием. Сейчас пойдет разговор о войне бывшей, о том, как он, Семен, ходил с хохлом в разведку, как «языка» брали. О том, как сам Рокоссовский сказал ему: «Молодец, солдат, хвалю за храбрость...» Все эти рассказы с многочисленными, всякий раз другими деталями терпеливо прослушивались за каждым семейным застольем. И тому, кто перебивал отца, Наталья строго грозила ложкой.

– Я вот читал, – чтобы угодить отцу, начал Андрей, – сейчас такие пули придумали с магнитом.

– Это как так? – Семен наострил ухо.

– А в ней такой прибор, вот она ищет человека, чует его. И от нее не спрячешься. Найдет, вопьется и разворочает все внутренности, пока все не смесит, не успокоится.

– Не успокоится?

– Не, пока все...

– Слыхала, мать?

Андрей подцепил на вилку кусок сала, но странная тишина, нависшая над столом, насторожила его. В тот же миг большая деревянная ложка отца с картофельной мокретью влетела ему в лоб.

– Я че сказал? – взвизгнул Андрей. – Я че такого сказал?..

Андрей вскочил и вылетел из дома, Семен резко встал за ним.

– Семен, Семен!.. – Наталья поднялась.

– Да сиди ты, мама, – остановил ее Сергей. – Ничего, полезно. В другой раз прежде, чем ляпнуть, подумает.

– Вот бешеная семейка, – презрительно молвила Юлька. – Раз в год соберутся вместе – и поговорить не могут.

В дверь послышался плаксивый крик Андрея:

– Батя, батя, папа... Ну ты че... Я че сказал-то?..

Наталья вытерла слезу и серьезно посмотрела на Сергея.

– Женя, иди успокой отца...

Наталья боялась этого разговора, она вообще часто ловила себя на мысли, что побаивается своего старшего сына. Но говорить было нужно. Долг ее, материнский, велит.

– Сережа, я хочу поговорить с тобой.

Юлька дернулась уходить, но Наталья властно остановила ее:

– Слушай, ты на таком же положении. Я, конечно, старуха неграмотная, может, никудышняя. Но я мать твоя, сынок. У меня сердце-то болит. Еще такого не бывало, чтобы мать своему дитю худо пожелала. Скажи мне, сынок, что у тебя в семье?

– Мама, – досадливо сморщился Сергей. Но он понимал, что нельзя обидеть мать и отмахнуться от этого разговора. Он понимал, что она долго решалась на него. Но что она могла знать о нем? Он сам-то себя не знал.

Наталья взволнованно вздохнула и ясно посмотрела на сына. Сергей отвел глаза.

Наталья сгорбилась.

– Как знаешь. Вы у меня грамотные. Что ты, что Юлька. Эта тоже убежала от мужа. А что она может? Кабы не мать, то и сынок бы ее с голоду помер.

Юлька зло бросила вилку на стол и плаксиво крикнула, раздувая ноздри:

– Я знаю, что вам не нужна. Мешаю, да? Места вам жалко! Я уйду с Витенькой. Найду квартиру и уйду. Лучше уж в подъезде жить... – плача кончила она и, с грохотом отшвырнув свой стул, убежала. Наталья замолчала. Сергей поковырял вилкой сало и встал. Вернулся Семен. Сел за стол, переводя дух.

– Ну что ты, Сема, – вздохнула Наталья. – Что ты бесишься? Ведь не сам он эти пули придумал. Он только читал про них.

– Не может, мать, таких пуль на свете быть, – тяжело дыша, ответил Семен. – Не может человек так друг дружку губить. В сорок пятом мы что думали, когда ружья бросали? Все. Последняя война. Страшнее уж не бывает. Они вон че, молокососы, говорят. Вон они о чем думают.

– Сема, они-то тут при чем? Чужой дядя где-то опять маракует.

– А ему интересно, да? – не унимался Семен. – Мы их растили, кормили, учили. Вот, скажут, чему их родители научили. Это он про такую смерть, ровно семечки щелкат, говорит. И не призадумается...

– Призадумается, будет срок, – печально ответила Наталья. – Шарахнет над башкой, дак призадумается.

– Ишь, упражняются! А? Мне, поди, в окопе на немца и не снилась такая смерть. Я бы, может, и не пожелал ему такую страсть.

«Милые вы мои старички, – грустно подумал Сергей, разливая вино по рюмкам. – Где же вы у меня так сохранились? Два цвета в жизни: война – плохо, мир – хорошо. Это – добро, это – зло».

– Давай, отец, выпьем. За вас с мамой.

Семен принять рюмку с вином не смог. Рука дрожала. Наталья поддержала руку его. В дом бочком протиснулся Андрей.

– Смойся! – сделал ему строгий знак Сергей.

– Вот так, – внесла свою лепту в воспитание Наталья. – Не мели языком, побрехушка. Раз отцу не нравится, молчи. Привыкай старших слушать.

Андрей обиженно почесал побитый хребет, пошел будить деда.

Выпили.

– Однако спасибо, мама. Засиделись. Устаю я от вашего шума.

Сергей встал, спокойно застегнул костюм и вышел из-за стола.

– Женя, пойдем пройдемся, – приказал он во дворе брату.

– Ну вот – поразбежались все, – обиженно глядя вслед Андрею, уводившему свекра, сказала Наталья.

– Все улетят, – подтвердил Семен. – С нами никто возекаться не будет. Пусть живут. Мы прожили, и они пусть живут.

– Давай-ка допьем ради праздничка.

– Куды!.. Я уж пьянущая.

– Ну дак. Разок бы хоть напилась. Давай, давай за детушек.

Наталья выпила, всхлипнула и прикорнула головой к плечу мужа. Вот, подумала она, и доживет с Семеном век. Давно ли, кажется, расписались в довоенном ЗАГСе на бочке из-под известки. Господи, моложе Юльки была. Как верилось тогда, что жизнь будет счастливой, что сумеет и хозяйство поднять, и семью устроить, и с Семеном ладить. Любила его без памяти. Видный был, веселый, язык хорошо болтался. Это он последние годы сдал, холера напала – пьет, а так ведь все одно, беду ли, радость, – все с Семеном делила. Про все болезни ребятишек, проказы все, что в школе натворят, на улице ли, особенно Володька любил по чужим огородам шастать, со всяким лихом к мужу шла. Все было. И беды и праздники. Богатства-то не было, а праздники были. Стыдно сказать, на смертный час у них и сотни рублей не отложено, говорила ему тысячу раз, да все – поживем, мол, что ты, мать, допрежь смерти – не помирай. Поживешь – так пить будешь! Водка, она не таких быков валила, а на тебя дунь – и протянешь ноги.

– А давай, мать, споем, – предложил вдруг Семен.

– Че это мы с тобой вдвоем и петь будем? Вот завтра народ соберется, и споем.

– Че, закон такой есть – вдвоем не петь? – обиделся Семен.

– Ну, чего споем-то?

– Для начала вот эту, ты ее сильно в молодости любила. – Семен набрал воздуха в грудь, приготовился, подтянулся и вывел:

Ох ты, волюшка вольная,  
Воля вольная незаемная...

Наталья чуть отклонилась от него, завела мягкую прядь за ухо и с той печальной серьезностью, с какой пела любимые песни, тоненько и протяжно подтянула:

Не навек ты нам доставалася,  
Доставалась волюшка, доставалась вольная...

## 11

Женька, спотыкаясь, обжигая воздухом горло, неровно бежал к огородам. У самого забора он упал и с отчаянием оглянулся, уверенный, что Сергей смотрит на него, стоя на открытом, кочковатом месте болота, где они разговаривали. Но до самого леса было чисто, одиноко, не было ни людей, ни птиц, только камыш сухим гольшом торчал у озера. Тогда Женька поднялся, медленно пролез сквозь дырку забора и нетвердым шагом пошел к сараю. Забравшись в холодную темноту чердака, он осторожно закрыл дверцу на крючок и повалился в пахучее, отдающее прелой изморозью сено. Сначала он лежал не шевелясь, ни о чем не думая, но потом, горячо почувствовав на лице слезы, не сдерживаясь, заплакал. Он плакал тяжело, с дрожью, подчиняясь жесткой силе, пружинящей его легкое, слабеющее тело. Он не чувствовал ни стыда, ни боли, освобождаясь со слезами от черного груза сегодняшнего дня, жить дальше с которым он был не в силах. Потом ему стало легче, он повернулся на спину и увидел синий свет, который протекал сквозь крышу чердака, и вздохнул. Впервые, словно прорвавшись сквозь дремотный туман, он увидел без прикрас настоящую грубую жизнь, всю разом до колких мелочей. Сейчас и он был один в целом свете, и никто не хотел ни ведать о нем, ни знать, что бушует в его незащищенном сердце. Слезы катились по лицу, солоновато омывая губы. Потом, судорожно всхлипывая, он заплакал опять, но уже легко, не горько, как умел в детстве, вытирая глаза кулаком, вспоминая почему-то то Витеньку, то Юльку, то мать в застиранном платке, стоптанных низких туфлях на больных ногах, вспоминая с той тихой жалостью, щемяще необъяснимой, которую узнал только сегодня. Он так и уснул ненадолго на сене, с кривой улыбкой на распухших губах.

## 12

Семен и Наталья собрались в баню, когда на дворе уже было темно. Небо мягко и низко заволочло, видимо, к снегу. Семен, как всегда, шел впереди, из его сумки торчал березовый веник. Наталья же париться побоялась, думая, что устала за день, да еще выпила.

В бане была обычная предпраздничная толкотня, которую Наталья, большая охотница до людей, любила за то, что все бабы, и молодые, и старые, знакомые и незнакомые, равно сидели на лавочках с бельем и вениками и говорили общим кругом, как будто все давно друг друга знают, про вещи, понятные всем и простые. Мылась она недолго, но словно усталость и все нынешние заботы как с водой стекли, оставалось на душе свежее, утешающее волнение, обычное для нее перед праздником. В приемной, где мужики и бабы после бани пьют газировку, Семена не было.

«Запарился, видать», – беззлобно подумала Наталья о муже, потуже поправила платок, ждать не стала, а вышла из бани. Кончился день. Сочно и ярко горели фонари, отсвечивал мокрый асфальт ядовитым фиолетовым цветом. Шел густой крупный и мягкий снег. Машин проезжало мало, но улица была людная, веселая, чувствовалась шумливая желанная приподнятость перед праздником. Она сошла с высокого каменного крыльца и неторопливо подалась к дому.

«Вот и подospel еще один праздник», – легко подумалось ей. Живешь, человек, работаешь, маешься, других маешь. А пришел праздник – остановись, отдохни, остынь. Это ведь не только отдых – вешка в человеческой памяти. В такой день оглянуться надо назад, в прожитые дали прошедших лет, вспомнить тех, кто жил до тебя и для тебя, так же работал, мучился,

ошибался, радовался, добрым вспомнить, незлопамятным, благодарным. И кто с тобой рядом посмотреть, и вокруг себя.

Давно уже живет Наталья, а много ли раз она в небо смотрела, в лесу была не для грибов и ягод, а просто так, по живой земле походить, посмотреть, что и как без человека рождается, растет, цветет и болеет на земле. Разве что в ранней юности, перед жизнью своей, когда ни забот, ни беды за плечами. А как втянулась в ляжку, пошла рожать, так суета безлика и мелькала перед глазами. Редко-редко вспыхивает в голове: как река течет, как яблоня цветет на родине, как змея меж травы вьется, вспыхнет и погаснет. Оттого-то и тоска на сердце копится, что некрепкой, временной была связь ее с землей. Мельтешишь, как мошка таежная. Может быть, она и хотела сейчас другую жизнь прожить... Да нет, наверное... Чего Бога гневить, жила Наталья, не было у ней ни беды одинокой, ни праздника. Шестерых родила она, и все шестеро живут как умеют, все подле нее, всем она нужна. В ее дому всегда все прививалось, приживалось и плодилось. Никогда у нее ни кошка, ни собака не погибла, и деревья, которые посадила она, растут, и цветов у нее по осени полно, и огород не пустует. А какое еще бывает счастье, кроме того, как множить и выхаживать живое... Уж, слава богу, одна не жила. Бог даст, и старости не будет одинокой. Кто б из детей ее бросил? Ну не министры. А Сергей вон какой грамотный. В газете работает, одет, квартира. Один раз видела в городе, как с ним мужик раскланивался. Может, других детей родители обеспечивают. Ну да кто одного поднял, его можно до пят золотом осыпать, а с шестерыми-то... Зато всем жизнь дала... во как – послаще золота будет. Наталья почувствовала знакомую лому в ногах, остановилась передохнуть. «Лишь бы не слечь», – подумала она. Хоть как, а на своих ногах до могилки топать. Распускаться надо меньше, нельзя жалеть себя.

– Ходи да топай, – вслух сказала она себе и пошла.

Конечно, нервная она, жизнь. Наталья вспомнила сегодняшнего Семена и пожалела его. «Совсем не берегу мужика, – подумала она. – Психоватый он, всегда был психоватый. А как же. Войну до Берлина прошел. На семью тянулся, тоже не пожалуешься. С полным правом скажешь – за мужиком жила. Конечно, иной раз вот психанет. Ишь, как его заело за обедом. Мужичье вы, все мужичье. Дали бы власть бабам, матерям – и никакой войны бы не ведали. Потому что одна только мать знает, сколько стоит человек. У нее расчет с этим миром по другим путям ведется».

Она и не заметила, как подошла к дому. Вошла, плотно прикрыв двери. Свет в зале горел, Сергей с Андреем играли в шахматы, Юлька лежала в постели с мальчишкой и легонько щеко-тала ему грудь, тот захлебывался от смеха и замирал, ожидая еще.

– Нашла игрушку, – недовольно сказала Наталья, снимая с головы полотенце. – Юлька, я кому сказала, так до смерти защеко-тать можно.

– Мам, народу много? – спросила Юлька.

– Много. Перед праздником когда мало было?

– Я пойду сейчас тоже.

– Ну, иди, – подумав, ответила Наталья. – Грудь не застуди после бани. Возьми еще полотенце, обмотаешь потом сухим. А где Женька?

– Спит, – сказал Андрей.

– Чего так рано?

– Упал он, – ответил Андрей, не поднимая глаз.

– Откуда?

– С чердака.

– Вот еще! Сроду не падал, а тут упал.

Она прошла в детскую, увидела ничком спящего Женьку, попыталась разбудить, подняв голову и тревожно вглядываясь в изменившееся, измученное лицо сына. Женька заворочался, что-то забормотал, но не проснулся, спал, съживившись, сиротливо прижав руки к подбородку.

– Как же это он так упал? – спросила Наталья. – Может, с головой че?  
– Ничего, до свадьбы заживет, – ответил ей Сергей, не отрывая глаз от шахматной доски.  
«Придется править голову, – подумала Наталья. – Вот наказание господнее с ним». Она вздохнула и пошла на кухню пить чай.

### 13

Ночью Наталья встала посмотреть тесто. Оно поднималось пышно на печи, уже вылезало за края. Подбив его, Наталья заметила, что дверь на кухне не закрыта на крючок.

«Забыли, что ли», – подумала она и, чтобы проверить, вышла.

Ночь стояла вызвезденная, с крепким тонким морозцем. Серебряные тенета блистали на крышах и заборах, сухим огнем пробегали по болоту. Далеко было видно под крутым месяцем, как мерцает ледок на озере. Наталья увидела открытые настежь ворота и вышла на улицу. У дома Андреевых на невысокой лавочке одиноко курил Сергей.

– Ты чего, сынок? Что ты? – жалостливо спросила мать, подходя. Сергей вздрогнул, резко бросил окурок, встал.

– Да ничего, мама, – откашлявшись, ответил он и оглянулся на черные, с неприкрытыми, облупленными ставнями окна андреевского дома.

– Видать, ты серьезно надумал, – грустно сказала Наталья.

Сергей поправил платок Натальи, ту же подтянув воротник телогрейки, вдохнул и неожиданно, обеими руками взяв ее маленькую легкую голову, поцеловал в лоб.

– Да не покойник я, – сказала Наталья.

Сергей тогда поцеловал ее в щеку и тихо сказал:

– С праздником, мам. Иди, я сейчас буду.

Далеко внизу лучились полные жалости глаза матери. Она стояла худая, маленькая, как девочка, в старой, продранной местами телогрейке, и ее запрокинутое вверх, к нему, родное, круглое лицо было живо такой робкой детской доверчивостью, любовью, желанием понять его и помочь ему, что он невольно дрогнул сердцем.

– Иди, мам, простынешь, – тихо повторил он и осторожно отвел мать от себя.

Женька слышал, как встал, оделся и вышел из дому Сергей. Он хотел полежать немного и выйти за ним, но услышал, как завздохала, зашлепала босыми ногами по полу мать. Потом тоже оделась и вышла. Женька слышал сухое дыхание Андрея, который жался к нему, видимо, мерз и что-то переживал во сне, вздрагивал. Женька думал сейчас, что Сергей пошел к Ольге, и что она выйдет к нему на лавочку, и что брат, холодный, высокомерный человек со скользкими пальцами, будет обнимать ее и говорить то, что знает только он и что только он, Женька, выстрадал для нее. Он почувствовал всю силу своего несчастья, и как оно давит на душу, и некуда деваться, и нет сил терпеть.

Он встал, залез в отцовы сапоги, надел его бушлат и вышел во двор. Калитка была открыта, но в ограде никого не было. Он пошел к своему чердаку, но влезть туда побоялся. Наталья была где-то здесь. Сел на бревнышко в огороде. Ночь была велика, просторна, с ароматом предзимнего морозца. Под зелеными, чисто промытыми сколками звезд и под ясным серпом месяца и серебристым спокойным полукругом голубоватого света вокруг него было так хорошо различать и белые сухие головки камыша, и блестящий ледок на озере, и подрубленную морозом вялую щетину ковыля, и ворону, стывшую на чешуйчатом, мерцавшем паутинным узором тополе. И все, казалось, видел он и все понимал в этой царственной, живой, осязаемой красоте природы, и сама ночь, могучая, чуткая, высокая, с лунным высверком, тоже слушала и понимала его.

Неужели я не спасу этого мира, – вдруг горько подумал Женька. – Неужели! Тогда зачем я? Зачем я знаю, и вижу, и слышу все это? И что мне делать теперь? Что же делать мне теперь?»

Он услышал лязг калитки и шаркающие старческие шаги матери, сжался, вздрагивая, сдерживая внутри горячую близкую, знакомую уже волну плача.

Сергей глядел в спину матери и печально думал, что никогда в жизни, даже в детстве, он так ни на кого не смотрел, да и не знал он никогда вот такой глубокой, горьковатой, жалостливой, полной любви. И он один сегодня, перед праздником, совсем один, молодой еще, здоровый, как ему казалось, уже знавший все, просто не понявший, как стать счастливым. И эта простая мысль о счастье досадливо раззудила ему сердце. Ведь она, мать его, была же счастливой, ведь сколько силы, сколько жизни в ее глазах. Он ярко представил себе завтрашний праздник, каких немало знал в доме, гудящий, многолюдный, вспомнил жестковатый, неровный говор гостей, горьковатые, молодые, бесконечные их воспоминания, их песни, их шутки и где-нибудь на кухне, в закутке, над кастрюлями чистое, ко всему участливое лицо матери, готовое заплакать от полноты радости, оттого, что у нее в доме за сытным столом живые, здоровые дети ее, друзья ее, праздник ее. Он вдруг понял, что завидует ей, стыдливо хохотнул про себя. Но выражение лица его было серьезно и строго. Устало опустившись на скамейку, Сергей взглянул на холодное, темное Ольгино окно, подумал, что и ей, Ольге, любившей его, он не принес счастья. А он, Сергей, считал, что воспитал Ольгу. Сергей вынул сигарету, медленно размял ее, закуривая.

«Выйдет она или не выйдет?» – Он словно прислушивался к себе, стараясь услышать сквозь настороженность ожидания хоть немного того молодого волнения, которое должен он испытать перед свиданием. Он ничего не услышал, зато вдруг вспомнил, что ведь он видел мелькнувшее тогда в свадебной толпе горящее, иступленное, с сухими громадными глазами лицо соседки, но отвернулся и сразу забыл о ней. Вспомнил перекошенное от непосильной для подростка ненависти Женькино лицо во время сегодняшнего разговора, как тот крикнул ему, обороняясь дрожащей рукой, словно ждал удара:

– Я тебя ненавижу! Ты удав, противный! Я тебя ненавижу!..

«Бедный мальчик, – грустно подумал Сергей. – Я так не рос. Я хоть мечтал сбежать в Америку и стать президентом».

Сергей поплотнее укрыл шею воротом кожаной куртки и посмотрел на лунную дорожку на льду незаснеженного озера. Вон клочок болотистый, а какие травы тут родятся! Как-то из любопытства хотел список составить, да куда там – и двух десятков видов не распознал. Как страстно, щедро прет из каждого пяточка свободной земли, да что там, бетон в городах пробивает слабая эта на вид и гнучая растительность – трава. Да, сладка жизнь. Сергей поежился, бросил окуроч, посмотрел еще на безответное окно соседки и в который раз сегодня с холодной обидой, уязвленно подумал, что жизнь обманула его...

Наталья, дойдя до ограды, не закрыла ворота, а остановилась постоять чуток. «И чего ему неймется? – печально подумала она о Сергее. – Тоже счастье ищет. Где оно, человеческое счастье-то? Вот он – праздник, ради него вершилось, строилось, матерело. Сколько жизней, сколько крови. Шли ведь на смерть, не оглядываясь. А как подумаешь – для чего? Да чтоб люди жили проще, не убивали бы друг друга, не мучили, чтобы ясно жили, светло, как дети, чтобы ладили меж собой, ведь только друг от друга да от земли счастье-то. И сколько еще придется понять людям, помяться, сколько еще строить да ломать, обижать и обижаться, чтобы научиться жить. Просто жить... Вон ночь какая. Постоять только чуток, подышать да на небо посмотреть, сколько радости». Она вздохнула и, оглядываясь, заметила, как прозрачно подымается дымок из дома Андреевых. Ишь, дома холодные стали какие. По ночам и то подтапливать приходится. Их как в тридцатые годы понастроили, так до сих пор без ремонту и живут. Слабое дерево, а дюжит, иной раз крепче камня стоит. Ну ничего. Мы выстроили, мы вырастили. Кого мы вырастили, те уже других растят. А те уж как поднимутся, пусть сами и строят. Им уже виднее будет, как жить и зачем жить. Те уже сами разберутся...

*1976*

## Рядышком

Просыпались они всегда в потемках в одночасье, а в последние годы с одной притерпевшейся и потаенной, как постыдная болезнь думой. Петр Матвеич открывал глаза, когда соседский петух, рыжий и наглый, третий раз прорезал окрестности натужным своим озабоченным криком.

– И не сдохнет ведь, – с досадой ворчал Петр Матвеевич, переворачиваясь на другой бок.

– Ага, сейчас... все попередохли... на тебя глядя, – позевывая, замечала за перегородкой Ньюраха, – тебя, Петька, пожиже развести – и можно всех кур перетравить.

Курья он не любил, это точно. Его пацаны еще в детстве замучили: «Петька-петух, на завалинке протух, яичко снес, на базар унес...»

Не угодил ему отец с имечком. Сам Матвеем был. То ли дело – кряжистое, мужское имя. А тут хоть «петух», хоть «петрушка», еще обиднее – бабья трава на огороде. Мать на его кураж говорила, что имя это его дед носил, что оно из Библии и означает «камень». Но Петр Матвеич Библию в руках не держал, а петухов на дух не выносил и всю жизнь боролся с этой птицей в собственном дворе. Бывало в споре крикнет на него Ньюра: «Ну, петух гребаный!»

Петр Матвеич как напьется после этого, так петуху голову долой. Крик стоял! Сколько раз Ньюра налетала драться на него, когда он победно бросал ей в ноги трепыхавшуюся безголовую «дразнилку», но хозяин был решителен и не успокоился, пока не извел эту вредную птицу с подворья. Ну, а соседям не укажешь, тем более этим, молодым и наглым, как их петух. Открыв глаза, Петр Матвеич глядел в окно на божий свет, едва проглядывавший сквозь белую пелену утренних туманов, на горьконькую одинокую рябинку, уже лет двадцать заливавшуюся под его окном тихим плачем. Когда он просыпался без настроения, обычно в дождливые утренники, подумывал, что рябинку пора срубить, а посадить что-нибудь веселенькое. Сиреньку, например, или черемушку. Он любил перестраивать жизнь, но только по утрам, лежа в постели и воображая, а что бы было, если бы... Но ничего не менялось, а жизнь была одна. Не очень казистенькая, но и не совсем пропащая. Обыкновенная. В молодости казалось, что блистал, как теперь понял, – что банка консервная на солнце.

Его утренняя перестройка жизни кончалась, когда Ньюраха начинала рассказывать свои сны. А видела она их тьму-тьмущую, да такие причудливые, что по телевизору такого кино не показывают, и он, слушая по утрам ее теплый, еще не совсем чистый от близкого сна голос, удивлялся и завидовал. Надо сказать, что иногда он подозревал, что его благоверная сочиняет по утрам свои сны, но никогда не высказывал своих сомнений. Во-первых, потому, что можно запросто в лоб получить, во-вторых, он сам пытался посочинять, но в утренние часы, как он ни пыжился, ничего, кроме Ньюркиной лепешки, а с похмелья «читушечки» в его натужном воображении не всплывало. А в-третьих, Ньюркины сны были немалой усладой в немолодой их жизни. Ведь видела она во сне всю их прожитую жизнь, и покойников родителей, и всю живую родню, вот и пойдут они вспоминать до самого обеда. Никакого телевизора не надо. Словно у молодости в гостях побывают. Ньюра развеселится, разругается, иной раз вытащит из-под матраса свой кошелек и выделит на «красенькую». Если же она притихла и затаилась, так что и дыхания не слышно ее, значит, видела во сне детей и плачет. Тогда они оба будут молчать все утро, пока он не соберется и не уйдет на работу. Первое свое горе он вынес почти тридцать лет назад из райцентровской больницы в тугом веселеньком конвертике, перевязанном голубой ленточкой. Он шел первый и гордый. Ньюраха за ним – бледная и тихая. Петр Матвеич не хотел жениться, да родители заели, да тут еще сын. Поехал, забрал ее из роддома принародно. Он не то чтобы именно на ней не хотел жениться. А просто еще гулялось. Гармошечка подводила! Как развернет ее, кажется, все девки под ноги валяются. Да, не столь девки, сколько бабы. Их полсела одиноких. Выбор уж больно богат был... Первенца назвали

Юрием. Может, оттого что Нюра сильно перемучилась, брошенная им на время беременности, но Юрка со своим вздутым животиком походил на паучка и все время кричал. И Петр Матвеич старался уходить из дома. Он тогда в самодеятельности блистал, с гармошечкой и пел, и отплясывал. Как вечер, он гармошку под мышку – и в клуб. Она только вслед посмотрит. Тогда у него к ней еще ни любви, ни привязанности не было, скорее – досада, что рано охомутился. Хотя и под тридцать уже набегало. Гармошка притупляла память. Это уже потом, как родились Тамарка да Шурочка, он как-то семейным становился. Потянулся к дому, особенно к дочке младшей, Шурочке. Она вроде лучше всех и получилась у Казаковых. А Юрка-то безотцовщиной рос. Поэтому такой воли набрался и краев не познал. В четырнадцать лет залез с мальчишками в магазин. Вытащили ящик конфет, пряников и ящик сгущенки. Сели на третьей полянке, костры развели. Тут милиция их и застукала. Тогда на суде, потный и красный от горя и стыда, Петр Матвеич впервые глянул на сына отцовскими глазами. Юрка сильно сутулился, куртка дыбком, как взъерошенная холка, смотрит невидяще-зажженными глазами. Глядя на этого волчонка, плоть и кровь свою, Петр Матвеич думал о том, какая разница между его молодостью и сыновьей. Петр Матвеич проплясал свою молодость, ни война, ни голод не помешали. А Юрка, видать, проплачет ее... Когда они вышли из суда, Нюраха, – которая все время как-то странно молчала, с ужасом глядя на судей (Петр Матвеич даже думал, уж не тронулась ли она часом от горя), – без плача сказала твердо:

– Он оттого мается, что я не хотела его... Едва аборт не сделала. И ты не хотел...

Накрутили пацанам пять лет тогда. На втором суде он уже заматеревший был, бойкий, внутренне спокойный. Квартиру обворовал. И вновь они проводили сына до «воронка» с решетками и, одиноко сгорбившись, стараясь никого не видеть и не встречать, пошли по дощатому тротуару. Уже в лагере ему еще срок добавили, и вот раз в год Нюраха, обвешанная сумками, сетками, с деньгами, накопленными за год и зашитыми в трусы, ездит к нему на свидание. Возвращается белая, как смерть. И молчит, и молчит. Даже сны свои перестает видеть...

\* \* \*

– Петька... А, Петьк...

Петр Матвеич молчал. По голосу жены он понял, что она проснулась в настроении, долго ворочалась, добродушно позевывая. Сам же он не особенно радовался утру. Глянув в окно, он увидел свою рябинку, голую, одинокую в сером жемчуге дождя, а он не любил ранней весны, дождей, туманов, то шелопутного тепла, то утренних заморозков, – всего этого, разъедающего его душу. Он любил устойчивость. Весна – пора сопляков.

– Ну, чего ты молчишь?

– Да я еще не проснулся.

– Не проснулся? Дрыхнешь круглыми сутками.

– Когда это я дрых! А работает кто?!

– Дед Пихто... Изработался. В бане пол сгнил, скоро ноги ломать начнем, сколь прошу...

– Ну, начала с утра. Ну, чего ты с утра...

– Ничего! Я тебе, как человеку, сон хотела рассказать.

– Ну, расскажи.

– Да ну тебя!.. Расхотелось.

– Как хочешь. – Он повернулся на бок и рассматривал старый ковер. Это их первый ковер.

Бывшая Нюркина мечта. Знак довольства, за которым она выстояла в очереди целую ночь у сельмага. Гордилась ковром, без конца собирала в дом гостей. Жизнь тогда кипела в доме. Это точно! Скота всякого держали. А что собак – свору! Кошки по всем углам. К дочкам – подружки, к Юрке – друзья. Нюраха соседки одолевали. Весь день кутерьма, шум, гам,

весь день топятся печи, и кто-то ест за столом, и кто-то что-то просит, требует. И все у нее, у Нюрахи, а она уж его достает... В этом угаре и пролетела жизнь...

Тогда он и перегородил дом. Дети подрастали и каждому хотелось своего угла. Дом был большой и посредине печь. Он разгородил дом так, что каждому достался угол с частью печи. Когда дети еще жили в доме, они с Нюрахой ютились в комнате, где спит сейчас он. А потом они разбрелись по углам, и полдома все равно пустует. Комната, где жил Петр Матвеевич, досталась ему после Юрки. Он выбрал ее из-за широкого припечья, возле которого Петр Матвейч пристроил лежанку – на ней он зимними вечерами грел свой радикулит и глядел в окно. Иногда его сгоняла с лежанки Нюра, она считала, что у нее застужен бок, и тогда они вечеряли, не зажигая света, в мирных и ясных воспоминаниях. В комнатке его, кроме ковра, который висел здесь, потому что только эта стена позволяла, не было других украшений. У постели стояла старая тумбочка, в нее Нюраха свалила школьные тетради детей. Она вынимала их иногда и подолгу рассматривала. Там же были лекарства, которые от века прописывались для их семьи, хранились в этой тумбочке. Вот и все. Да он и не желал большего. Угол его был теплый и светлый от окошка, в нем сладко дремалось и вольно беседовалось. Этот дом строил его отец, здесь выросли его дети; и, иногда засыпая в душистом тепле родного дома, он чувствовал себя, как в утробе матери. Так ему было надежно в нем. И он надеялся – и жил этой надеждой, что Юрка возьмется за ум и не бросит отчий дом. Он и сам долго бродил, как молодая бражка. У мужика ум только под сорок лет и прорезается, а до того его словно ветры носят. Во все стороны. Девка – отрезанный ломоть. Она должна прилепиться к своему мужику и жить в его доме. А сын останется и, может, будет спокойно засыпать в нем, чувствуя крепкую, охранную силу над крышей.

Комнатка жены была совсем другой. Она просторнее, светлее, ярче. Девчонки попеременно жили в ней, оставили свои девичьи следы. Да и сама Нюраха любила украшения, цветы, коврики, салфетки – всю эту бабью дребедень, которая сопровождает их всю жизнь. Поэтому комнатка жены напоминала Петру Матвейчу разукрашенную шкатулку, которых много продавалось в его детстве на базарах. Он даже стеснялся лишний раз входить в нее и всякий раз, когда входил, предупреждающе кашлял. Нюраха еще любила опрыскивать комнату всякими одеколонами, духами, какой-то непонятной, как он считал, вонью, а он не переносил ничего искусственного. Их вкусы, конечно, сильно разнились. Нюра любила платки, узоры, бусы, искусственные цветы, открытки, и всякие яркие картинки, которые всю жизнь вывешивала у себя перед глазами. А он любил запах табака, лука, свежего дерева. Терпеть не мог новую одежду. Она украшала, он упрощал. Тем не менее она любила проводить вечера в его закутке, чего никогда не делал он в ее комнате. Кроме двух этих комнатенок, в доме была еще зала. Эта была самая широкая, парадная и холодная комната. Петр Матвеевич ее вообще не любил и даже пробегал ее, чтобы особенно не задерживаться.

В зале стояло все, чем когда-то гордилась Нюраха: шифоньер, большой телевизор, сервант, стол, «стенка», приобретенная в «те» еще времена по большому благу. В зале никто из семьи не жил, туда вводились гости. Изредка шумели застолья. Потом вся эта «выставка» чистилась, расставлялась по местам и словно забывалась. Кухня, на которую выходила своей неутомимой горловиной широкая печь, как во всяком доме, и была магнитным местом для всей семьи. Ее и обихаживала Нюраха так же неустанно, подмазывая, подбеливая, обметая и топя каждый день – и в жару, и в холод, словно боясь, что с ее затуханием погаснет сама жизнь во всем доме.

– Ну, ладно, – звучно зевнув, сказала Нюраха, – сколь ни лежи, а вставать придется.

По звукам за перегородкой Петр Матвейч определял, как жена одевается, расчесывает волосы, ходит, что-то напевая. Значит, сон был добрый.

– Чего видала-то? – спросил он.

– Да так, ничего...

– Ну, расскажи.

– Ничего, пустое все...

Она вышла на кухню, и загремела посуда, заплескалась вода, заскрипела входная дверь, пропуская сквозь свою глотку сырую весеннюю свежесть.

Петр Матвеич поднялся, сунул ноги в стоптанные тапки, прошел на кухню. Ньюраха склонились над плитой, зажигая русскую печь.

– Опять, – недовольно заметил он.

– Иди, не мырчай, – отмахнулась она, и печь готовно выпустила трескучие свои языки.

Петр Матвеич раздраженно хлопнул дверью, выходя в сенцы, прохладные и гулкие, потом на широкое крыльцо. Накрапывал стылый мелкий дождичек, один из тех, которые не кончаются никогда. Весна, поначалу суматошная и жаркая, как девка-скороспелочка, поманившая ранним теплом в апреле, в мае показала свой истинный нрав. Дожди шли холодные со снегом, по утрам были заморозки, так что хоть коньки надевай на рассвете. Петр Матвеич справлял малую нужду прямо с крыльца – одно из весомых достоинств его жизни, истинную цену которого он понял только в гостях у дочери, едва не заработав, как он считал, болезнь мочевого пузыря, мочась в эту белую пасть унитаза. От тоски у него и моча не двигалась. То ли дело вот так, поливай вволю... Крыльцо застыло, и остуда доставала пятки даже сквозь кожу тапок. А ведь были май летние, цветущие, когда уже все всходило и зеленилось!.. Кто постарел и не успевает – он или мир?! Когда-то он не верил и смеялся над стариковской, как он считал, придурью, их баснями о том, что все меняется в худшую сторону. И природа, и люди... А сейчас сам понимает – все изменилось, и природа, и люди...

Возвращаясь, Петр Матвеич загремел в сенцах пустыми ведрами, всякий раз изумляясь и чертыхаясь: чего она наставила под дверьми этой посуды. Печь уже пылала, и Ньюраха толкала в беспокойное ее зеву чугуны с водой и какие-то горшки. Петр Матвеич сделал сердитое лицо и, взяв попавшуюся под руку кружку, черпанул из чугуна воды, помыть руки. Ньюраха презрительно усмехнулась и пошла выносить помой. Их лица были молчаливым продолжением давнего спора. Петр Матвеич настаивал, чтобы топилась плита, и углем топилась.

– Для чего я привез его?! – сердился он. – В прошлый раз уголь рассыпался. Ешо хочешь? Иди-ко поруби их, попили в лесу дрова да потаскай.

– Гляди-ко, изработался. О-о-ой, обкакалси. Пойду, вон, Витьку-соседа попрошу, коли так. Мне от угля этого руки тоже отваливаются. Копоти на весь дом. А от дров дух легкий. Дыши и не мырчай...

Со двора уже доносился ее пронзительный голос. Она с сердцем кричала на Кабыздошку. Петр Матвеич глянул в окно. Ньюраха шла в рубашке и цветной юбке, широкой, как шатер. Под этой юбкой еще три юбки. Ей всегда хотелось быть упитанной, как Клавдийка Шиповалова, их соседка, к которой Ньюраха ревновала мужа всю жизнь. Поэтому она всю жизнь шила себе широкие цыганские юбки, навдеывала их друг под дружку, чтобы казаться толще, и платков навешивала на себя, как на рождественскую елку. На выход надевала на себя не меньше пяти.

– Иди, вон, твоя толстозадая караулит уже. Стоит махина. Петьку выглядывает. – Ньюраха с досадой загремела посудой.

Петр Матвеич выглянул в окно. Клавдийка точно стояла на своем огороде и, кажется, смотрела на него, приложив ко лбу руку. Плотная, объемистая, на мощных устойчивых ногах, мерная, как баржа.

– Мало ей своего бугая. Глянь че?! О, бесстыжая. Мало ей барахла своего! Все ей мало! Ей надо, чтоб Петька посереде избы ей сидел и на гармошке играл. А она бы окорока свои разминала.

– Ну, че, ну, че с утра завелась. Честную бабу, понимаешь...

– Она честная, а я нет!

– Кто тебе че сказал? Я тебе хоть слово сказал?!

– А то я без тебя не знаю, что у тебя в паршивой твоей башке. Да ты только об этом и думаешь!

Петр Матвеич сплюнул и ушел к себе. Он совсем не хотел начинать день ссорой. Сегодня суббота, и он любил длинные эти домашние дни возле печки, хотел повозиться на огороде. Да и с баней нужно что-то делать. Хотел, чтобы Нюра спекла ему пироги с капустой, а он бы заглянул в свои потайные закромки в той же бане, где ждет его давно запрятанная бутылочка. С досадой укладываясь в своем углу на постель, Петр Матвеич удивлялся тому, как точно бабы чувствуют. Эту Клаву он не то чтобы не любил никогда, но она ему мало нравилась даже в тот короткий период молодости, когда он, что называется, прошелся с нею, девкой еще. Проводил раза три и один раз поцеловал. Да это когда было! Замуж Клавдия пошла хорошо. У нее и не могло быть иначе. Такая она уродилась, чтобы все у нее было прочно, хозяйственно, ладно. Он, Петр Матвеич, конечно, ей не пара. Бывший его дружок, Ваня Шиповалов, ее муж, даже похож на нее. Такой же тяжелый, работающий, коренастый. И когда они ходят вдвоем, широко расставив крутые короткие ноги, надежные и размеренные, как волы, тогда особенно видно, какая это крепкая и сбитая пара. И если бы не Нюра, то он, конечно бы, женился только на Клавдии. Она с пеленок – жена. Потому и ревнует Нюра всю жизнь.

Вот к Верке Козловой так не ревновала. А как он тогда пристрастился к этой диве. Приехала из района заведовать клубом. Корпус – я те дам! Волосы белые, взобьет их, как пену, по плечам. А говорила так, что он не все понимал даже. А главное, не к кому-нибудь, а к нему прилипла. Он, конечно, не упустил своего и даже гордился такой грамотной бабой. На всех собраниях она такие речи закатывала, всем сельсоветом управляла. Нюрке, конечно, доложили. Он побаивался. Горела огнем как раз сенокосная, страдная пора. Каждый сухой день был дороже золота. Тогда у них покосы были дальние, на сопках. Каждую осень приходилось чистить покос. Вырубать тальник, молодую поросль ольхи и настырный березняк. А он со своими загулами основательно запустил покос, и трава была тяжелая в том году. Проклятый лютик высыпал, как корь, на поляны. Петр Матвеич же словно угорел. Он забыл все на свете, кроме своей присухи. Народ уже докашивал и вершил зароды, а он еще и копешки не поставил. Как-то вернулся от Верки уже в поздних летних сумерках. Ясный июльский вечер медленно переплавлялся в ночь, но звезды были редкими, и в воздухе пахло свежестью, близким дождем. Он еще не подошел к калитке, как увидел Нюру. Она размашисто пересекла дорогу перед ним, открыла калитку, сняв с плеча косу, и, выставляя ее вперед, прошла во двор. Калитка хлопнула за нею у самого его носа. Он встал, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, заглядывая в щель забора. Нюра не пошла сразу в дом, а села на крыльцо, приставив косу на угол дома. Сидела, подняв к небу худое лицо. Потом пошла к бочке с дождевой водою, сняв с головы платок, умылась, расплела косу и, вынув с затылка гребенку, расчесывала темную свою, негустую волну волос. Потом долго глядела в бочку с водою, а он наблюдал и удивлялся: ну, чего можно увидеть в бочке. Даже кашлянул от удивления. Она вздрогнула и отвернулась от калитки и бочки, смотрела на лес. Он нерешительно вошел во двор. Нюра стремительно шла к косе. Тогда Петр Матвеич вздрогнул и отскочил от нее. Нюра сразу и резко остановилась, подняла к нему напряженно-страстное лицо и твердо сказала:

– Ты что ж, думаешь, я из-за твоей проשמандовки детей оставлю и в тюрьму пойду? Не дождетесь!

Петр Матвеич не мог двинуться, оторваться от дрожащего лица жены. Оно обострилось за это время, потемнели и расширились провалы глаз, и детское обиженное выражение этого лица было в точности такое же, какое бывает у плачущей Шурочки. Он вошел в дом. Девчонки спали. Шурочка свернулась калачиком, уткнув лицо в подушку. Он только разглядел ясные кольца волос на затылке. На столе стояла миска с недоеденной окрошкой. Лежали первые огурцы и стояла банка вчерашнего молока. Дом казался осиротелым.

Он больше не ходил к Верке. Чад этот рассеялся быстро, и Нюраха редко напоминала об этом. А этой кличкой – «прошмандовка» – она больше никого не крестила. Даже Клавдию. Верка птицей пролетела. Иногда вспоминалась, и Нюра, чувствуя это, глядела на него с презрительным сожалением.

– Хоть бы баба была там. А то прошмандовка размалеванная!..

Сейчас она мирно гремела на кухне посудой, привычно ворча и постукивая каблучками. Потому что тапок она не носила даже дома. Она любила, чтобы вокруг нее звучал и стук, и звон, и говор. Ворчание иногда прерывалось пением. Все попеременно и все это: стукоток, шуршание юбок, звон посуды, ворчание и пение, запах ручья и цветочной пыли, дешевых духов и мыла – все это, клубясь и воздымаясь, сопровождало всю ее жизнь.

– Господи! Да когда же он сдохнет?! И ведь не сдохнет.

Петр Матвеич насторожился. Появились очень опасные нотки в бесцветном ее ворчании.

– Что ты мне наделал?!

– Что я тебе наделал?!

– Ты зачем в котел лазил?!

– Руки мыл!

– Руки мыл, скотина!

– Я скотина?! Ты чего разошлась с утра? Че разлетелась-то?! Язык-то прибири свой. Я тебе что, тряпка?!

– Ты не тряпка, да?! Не тряпка. Весь котел запоганил. Я воду стирать грею. Потаскай-ка ее. Ты, поди, задницу свою с постели поднял, только чтоб на Клавку посмотреть, а я уже на ручей за водой сбегала.

– Ну, что я сделал-то?

– Ничего?! В кружку тебе трудно заглянуть было. Шары-то разуй! Или тебе Клавка совсем голову замутила?

– Во дура-то!

– Я-то дура! Я вот вылью сейчас котел на тебя, тогда ты еще поумнеешь.

– Нюрка!

– Я-то Нюрка, а ты дурка! Совсем одурел. У меня масло последнее в кружке было. На чем я лепешки печь буду?!

Наконец до Петра Матвеича дошло, что в кружке, которой он черпанул воду из котла, было масло для лепешек.

– А ты чего ее выставила под руки?! Кружке-то че, места другого нету?..

– Нету! Тебя не спросила, куда ставить. Надо было с вечера еще спросить: Петька, куда мне кружку с маслом поставить?

– Спросила бы. И масло бы уцелело, – добродушно ответил он, и этот добродушный тон уязвил ее хуже крика.

– Мало того, – закричала она на него, – что ты жрешь в три глотки. Ты еще масло в воду льешь. Иди-ка притащи теперь воды!

– Кто жрет в три глотки?! – Петр Матвеич остолбенел от оскорбления.

– С утра встанешь, как заведенная. Туды-сюды, туды-сюды. А он выдыхнется и вредительством займется.

– Кто жрет в три глотки?!

– Тащи теперь, Нюрка, воду, чисти котел, а он пойдет Клавку шупать.

– Я тебя спрашиваю, – зловеще повторял Петр Матвеич. – Кто жрет в три глотки?!

– Да ты, кто же! – вдруг ответила Нюра. – Что я стану для себя варить. Или лепешки печь! Мне и чаю позаглаза хватит.

– Ладно, – сказал он, – не вари!

Надел штаны, ботинки. Нашел старую куртку, у которой замок не застегивается. Кепку не нашел. Вышел, хлопнув дверью. Кабыздошка, не разобравшись, выскочила из будки и залилась ему вослед часто и мелко, как Нюраха во зле...

\* \* \*

Петр Матвеич шел долго, не разбирая пути, по разможенной дороге. Дождик давно смочил сивые остатки кудрей и стекал за ворот рубашки. Но Петр Матвеич не замечал его. Он обернулся в конце улицы на свой дом. Но не увидел его, а только дым из трубы и голые ветки рябинки, и с горячей злостью подумал: «Вернусь, срублю».

Увидел Клавдию. Она смотрела на него.

– И че я, дурак, на ней не женился!

Улочка, на которой он жил, упиралась в центральную, асфальтовую, оставалось до нее несколько дворов. Идти было некуда, но идти было надо. Не возвращаться же назад! Он шел и думал о Нюрахе. Когда у них все было хорошо, то он просто жил с нею, ни о чем не думая. Но в последние годы в их жизни все меньше было слаженности. Ее непокладистость выпирала наружу. И теперь он больше думал о ней и почему-то часто сравнивал ее с Клавдией. Не с теми женщинами, с которыми он был когда-то, а именно с Клавдией, в которую никогда не был влюблен и не знал как женщину. И если Клавдия с молодых ногтей словно измерила всю свою жизнь и на пядь не отступила от размеренного, и если уж она положила пить с утра два стакана чаю, то уж, будь спокоен, в последнее свое утро она выпьет эти стаканы в любом состоянии. И мужа своего никогда и ничем не удивит и никогда не изменит заведенного в доме порядка. Так и накопилось, возвелось, выстроилась у нее и семья, и хозяйство. Кирпичик к кирпичику, день за днем. Курочка по зернышку клюет и сыта бывает. У Нюрахи же никогда и ни в чем меры не было. У нее либо – либо... Вся жизнь в страстях. А после несчастий с детьми совсем свихнулась.

Жить стало нечем. Вначале из семейного гнезда выпал Юрка, а потом началось с Тамарой. Детская с третьего класса любовь дочери к однокласснику, нескончаемо-нудная, заставила сильно поволноваться Казаковых. А когда дело дошло до «пуза», Нюраха разбила сетку с яйцами о лицо возлюбленного дочери. Сделала она это принародно, у крыльца магазина, в котором выстояла три часа за этими яйцами. Потом она села с Тамарой на электричку и уехала в город к дальней своей родне, где дочку и опростали. Надо было ему стукнуть кулаком по столу. Хоть слово сказать отцовское. Но Петр Матвеич растерялся. Он не ждал от судьбы второго удара и отстранился, отмолчался. Тамара в поселок не вернулась, устроилась работать на стройку. Живет в рабочем общежитии. Нюра как съездит, так неделю в себя прийти не может. Курит, говорит, Тамара. В комнате черт ногу сломит. Бутылки под кроватями. А матери слова доброго не молвит. Домой ехать не хочет – чего, мол, в вашей деревне делать. Вы меня и так-то не любили. У вас только Шурочка и дочка... Признаться, Тамарку мало любили в семье. Росла она некрасивой, черная, как галка, ябедничала и нудила, как пила. Нюраха жалела ее по-матерински, а Петр Матвеич побаивался ядовитого языка дочери. Иной раз скажет – до печенок достанет. Безжалостная росла...

Одну Шурочку и проводили из дома честным порядком. И живет она ладно с мужем. Только деток мало – одна девочка вяло в семье растет...

Как Шурочку проводили со свадьбою из дома, Нюраха ровно тронулась. Первое, что сделала – скот извела. Держали его – невпродых. Ей все мало было. Одного рогатого до шести голов держали, овцы, козы, свиньи... Собак свора, кошки по всем углам. Кажется, со всего Почекалово всякая тварь к воротам их дома сбегалась, и Нюра всех привечала. Работала – жили рвала с рассвета до поздних звезд. И вроде хватало сил – не плакала. И сразу двор опустел. Никого не пожалела. Одна эта глистогонная Кабыздошка прибилась... Теперь вместо

скота – телевизор. Насмотрится и пойдет вытворять. Узнает из ящика, что неправильно питалась до сих пор – и давай его травой кормить, сырую пшеницею. Еще при Брежневe она бельем запасалась. Забила все комоды, шифоньеры и шкафы этим бельем. Правду сказать, его раньше-то не было в магазинах. Бывало, как привезут, бабы с вечера в очереди, под запись, стояли.

Самая тяжелая и нескончаемая «кампания» – это неожиданно открытая в жене, после ликвидации скота, чистоплотность. Очень вредная, как считает Петр Матвеич. Скот извела, дети разъехались – чего делать? Пошла мыть, чистить, стирать, шпарить... Все перекрасила: ковров настелила, и Петру Матвеичу не стало места в доме. Куда ни ступи, везде мешает и сорит. Он было перебрался в летнюю кухонку. Потому что из дома она сделала музей. Тогда они еще, можно сказать, были зажиточными. У него была сберкнижка, на которую он собирался прожить всю пенсионную жизнь. А его зарплаты, да еще с хозяйством, вполне хватало, чтобы жить безбедно. Деревня тогда с одного боку богатела; машины появились во дворах, моторки. Омумом торговали. А с другого – рубила сук под собою. Скотину со двора уводили. Моторов в деревнях становилось больше, чем коров...

Летнюю кухонку он переоборудовал в тихий и теплый закуток. Стаскал в свой притулок весь инструмент, нужную утварь, сделал лежанку у печки и дымил себе в потолок, ложась как и когда ему вздумается. Нюраха, оставшись одна в своем крашеном и чистом доме, заскучала. Частенько бывала у него, но не выдержала тесноты, табачного дыма, грязных его сапог и портянок на припечке, будто принцессой росла, разломала печку и перевела его в дом, повесив перед ним ковер и постелив под кроватью коврик. Она тогда сильно увлекалась всей этой дребеденью. Увлечение это Петр Матвеич на своей шкуре сносил. Во всех городских универсамах потел в очередях, ворчал:

– Куда тебе, на три жизни, что ли?

– Девки по приданым растаскают. Нам еще ничего не останется.

Все осталось! Ничего не нужно родительского ни девкам, ни парню. Ни родительского, ни родителей...

Шурочка еще приедет, возьмет что-нибудь. И то так, не обидеть бы. А Тамарке вообще ничего не надо. Может, сейчас их жизнь прижмет, при новом режиме. Может, вспомнят отцовский дом. А пока все лежит, пылится, моль жрет. Нюраха иной раз взойдет на свою выставку, пооткроет шкафы и давай перебирать. Весь товар разложит, вспоминает, где что «достали». Тогда ведь «доставали». Это сейчас все лежит напоказ в магазинах, да брать не на что. Тогда все наоборот было...

Петр Матвеич понимал жену, старался терпеть. С горя у нее перекосы эти, «канпании» все. Но иногда обида его донимала. Он же ведь жив и с нею! В горе-то люди тесней друг к дружке жмутся. А она то в тряпки, то в телевизор. Скупая стала. Экономить, считать, куском попрекать начала. Раньше все выложит всякому, кто в дом войдет. А сейчас мужу своему жалеет. Три глотки у него объявилось...

\* \* \*

Острый укол в задницу заставил Петра Матвеича очнуться от дум. Он вздрогнул и недовольно обернулся. Перед ним стоял козел, пегий и грязный, с ободранною бороденкой. Этот козел по кличке Боря Ельцин, Витька Басманова козел, доставшийся ему после развода с женою, неотлучно находился возле хозяина. Витек запивал и частенько валялся по поселку. И Боря Ельцин стоял обычно рядом с бесчувственным телом хозяина. Витек ли или кто другой назвал козла таким именем, сказать трудно. Витька любили в селе за беззлобность и безотказные золотые руки. От этой любви и козлу перепало. Нет-нет да какая-нибудь сердобольная бабенка, у которой Витек наладил электричество или поправил печь, вынесет козлу кусочек хлеба либо хлебных или мясных помоев. Боря Ельцин все жрал, ничем не брезгуя, памятуя,

что завтра, может, и этого не достанется. С работы – Витек в свое время и в гараже, и в зверопромхозе работал – его поперли, несмотря на золотые руки. Потому что запивал он неделями. Жена с детьми уехала к своим родителям в деревушку под Почекалово. Ему достался двор большой, отцовский, со всей подклетью, с рубленным еще при дедах доме, и козел Боря Ельцин...

\* \* \*

Витек, которого еще за присказку прозвали «Это самое», оказался неподалеку. Он стоял, держась за изгородь огорода нынешнего своего дружка Яшки Волкова, которого в Почекалово звали Яшкой Клещем, за въедливость и вездесущность. Что плохо положили – Яшка приберет, кто разъезжается, где что трещит и ломается – Яшка тут как тут. Без него не бывает похорон и свадеб, проводин и разводов. Как клещ, вопьется, да так сделается необходим, что и воздуха нет без него. Сейчас Клещ, воткнув лопату в землю, шел к Витьку. Шел и оглядывался – не видит ли Варвара. Подойдя к изгороди, он последний раз обернулся на окна своего дома, нырнул через лазейку на улицу, и они, не сговариваясь, единым, энергичным шагом, с одинаковым выражением на застывших лицах двинулись вниз.

– В магазин, – понял Петр Матвейч.

Козел равнодушно трусил за ними. Петр Матвейч оглянулся. Варвара, прямая, худая, белесая, стояла у лопаты и, приставив ладонь ко лбу, глядела вслед мужу. Петру Матвейчу, что козлу, было все равно куда идти, и он поворотил за собутыльниками. Очень скоро они встретились. В Почекалово была и есть одна путеводная звезда, к которой сходились все мужицкие пути. Эта Файка Губелевич. Она прикатила в село из Иркутска в те времена, когда Меченый боролся с пьянством. Эта борьба для Файки оказалась очень полезной. В единственном магазинчике Почекалово, где она хозяйничала, двери не закрывались ни днем, ни ночью. Кто их помнит сейчас, эти талоны на водку?! У нее всегда была демократия – выдаст тебе бутылку в любое время суток без всякой проволоочки и талона. Пока Меченый боролся, Файка, которая, говорят, сильно промотавшись по городам, разжилась в Почекалово, как барыня. Дом она приватизировала, расстроила, – он был выделен ей сельсоветом, завела полное хозяйство, машину купила. Хоть с рук и по дешевке, но все же... Энергии и сил у нее, надо заметить, не отнимешь. Файка – как сивка-бурка, только свистни. Нашлись, правда, волчицы и пограмотнее ее. Когда на месте деревянного магазинчика выстроили каменный, то заведующую поставили с дипломом. Рядовым продавцом, по сто грамм обвешивать, Файка не согласилась.

– Не пропаду!

И не пропала. Тут же в Почекалово, как во всей России, в самых дальних ее уголках, появились люди кавказской национальности, с которыми она тут же спелась. Вместе они поставили ларек, где торговали гуманитарной помощью и хлебом, с которым в Почекалово всегда были перебои. Кавказцы тут же начали манипуляции с лесом и подбирались к негустому, но все же имеющемуся байкальскому золотишку...

Витек ударил о прилавок ладонью с десятитысячной. Файка автоматом тут же выставила бутылку «сучка». Только орлиный нос мелькнул под черной куделью волос.

– Слушай, она, видать, ихняя, по крови-то. – Петр Матвейч кивнул на кавказца, дежурившего у ларька.

– Не-е, – протянул Яшка, – она другой крови...

Петр Матвейч с неудовольствием глянул на Клеща. Не любил он его. За ядовитый, злой язык. И все сплетает он, все выглядывает, все выпытывает. Вон как бегают тараканы его глазки.

– Откель знаешь? – спросил Петр Матвейч.

– Знаю, – коротко ответил Яшка и нехорошо усмехнулся.

И Петр Матвеич подумал, что не про одну Файку знает Клещ. Увел же он Варвару, серьезную и рассудительную, от Степана, доброго мужика. И она ушла к нему, маленькому, жилистому, с едкими и въедливыми глазками, с цепкими руками. Сколько тогда разговоров было. Все гадали, почему да зачем. Уж больно неказист и бесцветен Яшка перед Варвариним первым мужиком. Тогда все решили, что Варвара понесла от Яшки, потому что со Степаном детей у них не было. Но прошли годы, и с Яшкой Варвара не родила, и к Степану не вернулась, хотя он не женился, и говорят, ждет ее...

От ларька все трое, не сговариваясь, шли к Витьку Басманову. Первыми молча и одержимо шагали Витек с Яшкой, за ними козел, последним вздыхал Петр Матвеич. Он шел и подумывал, не вернуться ли домой. Чайник уже вскипел, и Нюрка натолкала в заварник всякой пахучей дряни и напарила на припечке, уже вспухла лепешка на сковородке...

И чего обижаться на бабу-дуру? На язык ее. Бог с ним, с характером, чего его выдерживать на старости лет?

И он было уже отцепился от попутчиков, пытаясь нырнуть в свой переулок, но Яшка обернулся, властно и призывно мотнув головою...

\* \* \*

Водка лилась громко, с каким-то жестяным звуком, и Петр Матвеич, глядя, как наполняется его стакан, внутренне сопротивлялся выпивке. Ему вовсе не хотелось пить с утра эту жестяную теплую водку. Яшка тоже смотрел на бутылку, но оценивая и примеривая:

– Перелил, – заметил он и отлил из стакана Петра Матвеича в Басмановский.

Петр Матвеич пожегся. Он увидел презрительный намек в остром Яшкином взгляде. Он ведь не внес свою лепту в застолье. В старой куртке, которую он успел нацепить на себя, заначки не оказалось. Видимо, Нюраха проверила карманы. Яшка не был бы Яшкой, если бы не намекнул на это. «Ничего, – думал Петр Матвеич, – расквитаемся. С первой же полочки». Водка не шла. С натугой сделал последние глотки и, понюхав ладонь, крякнул.

– И как ее Ельцин каждый день пьет?

– Молча, – коротко ответил Яшка, – не закусывая, как мы...

На столе у Басманова в старой, оббитой вазе лежало два черных сухаря и грязный кусок омуля – прямо на клеенке.

– Это самое, – не понял юмора Басманов, – он че, сучок, что ли, пьет?! Такую, что ль, он водку пьет. Он, поди, коньяк каждый день хлещет...

– Во куда народные денежки-то идут.

– У народа уже нет денежек...

Неожиданно быстро Петр Матвеич опьянел. Дымка кутала все перед глазами, но он, давно не бывавший в гостях, все же увидел, что Витек, видимо, давно начал перестраивать родительский дом. Но все через пень-колоду. И старое бревно, и моющиеся ободранные обои, и печь, и самодельная бойлерная, с батареями и газовой плитой, все это соседствовало без всякого порядка и разбору, а главное, запущенность господствовала во всем доме. Этого жилища давно не касалась женская рука, и потому все было грязно и мрачно. Петр Матвеич даже испугался вначале басмановского дома. Ограниченный за последнее десятилетие только своим двором, он привык все же, как ни ворчал, к Нюрахиному порядку и уюту и сейчас словно в подземелье попал. Яшка же вел себя как рыба в воде. Было видно, что он здесь не впервой пьет и знает, где что лежит и куда что сплавить. Витек, подвыпив, обвел взглядом свою кухню с давно не беленой печью и кучами золы в подпечье и сел на своего любимого конька.

– Ну, скажи, это самое, чего ей было надо?! Печь топить не хотела – во болер смастрячил. Сиди, нажимай кнопки. Я бы ей все механизировал. Я эту печь совсем сломаю и квартиру сделаю... городскую. Ей мало этого. Брось пить... Брось пить... Как заведет свою машину с

утра. Детей всех против меня настроила. Тут не хочешь, да запьешь. А че пропилил?! Ты мне скажи. Да, я пью! А кто не пьет? А че я пропилил?! Чего?! Она ушла, одного козла оставила. Вот он козел...

В это время дверь распахнулась, и козел дробно застучал по кухне копытами.

– Ты его зачем так назвал? – хрустя сухарем, спросил Яшка. – Ведь стукнуть могут. Времена-то меняются. Посодют.

– Я, что ль, назвал?! Люди назвали. Боря Ельцин, да Боря Ельцин. А я тут при чем?! Такой паршивый козлище. На баб прыгает, это самое... Козел... это самое... похотливый... Это еще что... У меня коза, ну это... подружка его, у бабы моей осталась, Райка звать, вот стерва, я вам скажу. Ничего не оставь, все сжует... Такая тварь... Пусть лучше козел, чем эта Райка...

Петр Матвеич вдруг вспомнил Ньюру, представил, как ходит она к ручью, меняя воду в котле, и вздохнул: тоже ведь, немолоденькая...

Витек пьянел быстро, после первой рюмки, и лицо его как бы мертвело, хотя сам он становился все более суетливым и беспокойным. И о чем бы он ни начинал разговор, и о чем бы ни говорил, все сводилось к жене, к обидам на нее и подробностям ее ухода из этого дома. Он и сам не понимал, что своим уходом она привязала его к себе намертво. Он пил и ждал, когда она вернется.

– Баб надо бить, – убежденно заявил Яшка. – Их когда до революции держали. – Он выразительно сжал кулак. – Тогда и порядок был.

Петр Матвеич вспомнил Яшкину Варвару на огороде, и как он, быстро оглядываясь, как пацан, нырнул в пацанью свою лазейку в заборе огорода, и усмехнулся.

«Да, говори мне, – подумал он. – Герои мы без баб-то... Языки чесать...»

Его тянуло домой. Ньюраха уже сменила котел с водой, и лепешка, которую она испекла, остыла. И чай она не пьет, потому что не может пить чай одна.

Козел шуровал в углу за печью. Перевернул ведро с водою, и вода потекла мутным ручейком по грязному полу.

– Ты чего его распустил? – спросил Петр Матвеич у хозяина.

– А кого мне еще распускать! – махнул рукой Витек и взялся за бутылку. – У меня еще крысы, это самое, как начнут греметь ночью.

– А кот?

– А, кот! – Яшка махнул снова столь же обреченно и, вздохнув, стал разливать водку по стаканам. А Петр Матвеич, глядя на Яшку, думал, что сколь он в жизни знал Яшек, они все одинаковы: маленькие, цепкие и едкие, как клещи. Это собственное замечание понравилось ему. Он вспомнил, что в армии у них в роте служил такой же Яшка, и от него вся смута шла. Но тут он подумал, что по его выходит, что и Петьки все одинаковые. А это замечание ему не понравилось. Витек долго вымерял водку в стаканах. Наконец подал стакан Петру Матвеичу. «Уважает», – удовлетворенно подумал Петр Матвеич, первым принимая от него стакан.

– Он уж мой, – сказал Витек про козла, – дружок, что ль. Он пока что не разговаривает. А так все понимает, скотина. Хитрый, падла. Только отвернешься – напакостит. Я уж привык к нему. А так проснешься с опохмелки, дак удавишься один... Раньше, бывало, с похмелья пилит тебя баба, пилит... Пилит, пилит. – И он замер со стаканом в руке. Глаза его вдруг наполнились слезами.

– Ты че, Витек? – Яшка поддержал его руку со стаканом. – Не переживай. Добра-то – баба!.. Мы тебя женим. Не то что бабу, – девку найдем. Этого добра в России, что сельдей в бочке. Давай-ка выпьем. – Петр Матвеич выпил и поперхнулся. – Э, Матвеич, в три горла жрешь!

– Ну, ты это... потише, – осадил Петр Матвеич Яшку и подумал: «Все же он моложе и должен себя помнить».

– Шутка. Не понимаешь, что ли?!

Витек пил водку, как воду, а Яшка, словно бы смакуя. Горло же Петра Матвеича до слез продраило.

Козел обнаглел и скакал на стол. Яшка дал ему кусок омуля и сказал:

– Я ведь голосовал за Борю Ельцина. А ты козла назвал. Я что, за козла голосовал?

– Убить тебя мало! – вырвалось у Петра Матвеича.

– А ты за кого голосовал?

– Я на печке пролежал...

Витек встал из-за стола, ходил по кухне, заглядывая по углам, словно искал забытую вещь. Проходя мимо козла, он пнул его в бок, на что животное совсем никак не откликнулась. Потом он прошел в комнату и нажал кнопку телевизора. Все услышали знакомый хриплый голос, с трудом пробивавший упитанные, пропитые недра.

– Вот напишу Боре, – не унимался Яшка. – Напишу. Мне орден, а тебя на Колыму... И зачем ты это сделал?

– Из любви к родному президенту. Я вообще люблю правительство свое. Будь у меня стадо козлов, я бы каждому козлу дал имя члена правительства. – Витек говорил спокойно, без улыбки. – А у меня козел один. Я главным и назвал... Райку баба увела. Все ей мало было! Куриц держал, гусей держал. Боров был невпроворот, встать не мог на ноги. Кто его выкормил? Комбикорму с Тунки возил. И все я был алкаш и скотина. Тряпья висело – три шифонера. Ей-бо... Колготки эти, штанишки ребятишкам не стирала. Новые покупал – ворохами. А я ей утру нос. Я этот дом фатэрой сделаю. Я уже мараковал. Знаю как. Батарей поставлю, воду проведу и ванную в чулане. Не я буду, если я этого не сделаю. Я еще попью немного. И в гараж пойду, там я много чего понаберу для себя. Отделаю домик – любо-дорого. Кухню плиткой выложу. И сральню теплую сделаю. А потом бабу приведу... Девку молодую... А то – «кому ты нужен, алкаш...»

– Правильно, Витек. Дай лапу. – Яшка восторженно пожал руку Басманову. – А козла куда денешь? Козел для цивилизации не годен.

– Жрет он много, – скорбно подтвердил Витек, глядя, как козел шарится по углам в поисках еды. – И на баб кидается. Одна даже в суд собирается сбежать. За оскорбление личности. Будешь платить, говорит, мне за моральный ущерб.

– Это запросто, – сказал Яшка, потирая руки, – три шкуры сдерут. Бабье...

– А че делать, это самое...

– Выложить... Че. Зачем ему? Райки нету. На кого скакать. Вот он и скачет на баб...

Петр Матвеич, который уже давно томился ожиданием конца попойки, засобирился домой. Он хотел есть, хотел очутиться в своем протопленном уже уютном доме, и пусть Нюраха ворчит. Бог с нею. А то окажется, что и ворчать некому будет, как у Витька. Он, может, посидел бы подольше с Витьком и говорил бы с ним по душам, но Яшка мешал разговору.

– Стой, Петро, – громко сказал вдруг Яшка, – ты ведь выкладываешь.

– Кто?! Я? – растерялся Петр Матвеич и посмотрел в пегие Яшкины глаза. – Когда?

– А кто у Валерки бычка выкладывал осенью?

– Ну, дак быка же. Не козла.

– Ничего! Яйца у всех одинаковые. У быка вообще по пуду. А у Бори Ельцина засохли вот от голода. Сморчки одне.

– Но, но, – заступился за козла Витек, – ничего себе сморчки, это самое...

– Потом как-нибудь, – засуетился Петр Матвеич в поисках куртки.

– Не, ты куда?! – подскочил из-за стола Яшка. – Ишь ты, прыткий какой. Потом жара начнется. Козла мухи съедят. Попил на халяву. Отрабатывай.

– А ты не халяву пил, – огрызнулся Петр Матвеич.

– А я помогать буду. Я подержу козла.

– Да вы что, робя! Всерьез, что ли?

– А тебе что, в первый раз?

– А чем я промывать буду? Мошонку. У тебя водка есть?! – Петр Матвейч страшно обрадовался, что вспомнил о водке. – Че, заразить хочешь козла?! Спирт нужен, не то что водка. Руки надо мыть и все... Есть водка у вас, я спрашиваю?

Яшка и Витек громко захохотали в ответ.

– Ну вот, – спокойно подался к порогу Петр Матвейч, – как будет, так и выложим вашего Борю Ельцина.

Он уже ступил на порог, как дверь широко распахнулась и он увидел прямо перед собою остро стянутое личико с колкими глазами. Тонкие губы этого мелконького личика дрожали от негодования. Это личико поразило Петра Матвейча, и не злостью своей, а неожиданной близостью. Он так давно не видел близко женского лица, кроме Ньюрахиного, а тут чужое, молодое...

– Надька, только не ори! Это самое... – сразу предупредил Витек, и тут только Петр Матвейч понял – это вошла Надежда, сестра Басманова. Он притоптался чуть-чуть у порога, чтобы поздороваться с нею, но Яшка усадил его за плечи на стул.

– Ну че, алкаши! – Надежда прошла к столу и, надев на руку перчатку, презрительно взяла в руку пустую бутылку. – Нажрались? – холодно отметила она.

– Кого там. Одна бутылка на троих. Язык помочили, – ответил Яшка, внимательно глядя на нее.

Надежда села на табурет, сняла перчатку, щелкнула замком сумочки. Одевалась она по-городскому: шляпка, перчатки, косыночка на шее, но Петр Матвейч, глядя на нее, подметил бесцветность ее крошечного, узкого личика, и когда она сняла шляпку, обнажив серенькие волосы, он удивился, как молодое лицо может быть таким бесцветным. Никаким. Он видел ее многожды и здоровался с нею обычным кивком головы, совсем не замечая и не оценивая ее. А теперь впервые увидел, разглядел: на редкость – никакая. Нюрка вся была густая от красок. Даже чересчур цветастая. И одевалась как цыганка. А эта – и в одежде ни цветочка. Видать, цветок к цветку тянется. А ледок к ледку. Надежда высокомерно вскинула вверх прозрачный «ледок» своего лица:

– Виктор, когда все это кончится?

Она сидела в центре – на табурете. Нога на ногу, и сигарета в пальчиках. Все трое мужиков смотрели на нее. Витек глядел, широко раздвинув щеки в глупой и радостной улыбке.

– Видали сестренку? Послал же Господь, это самое.

– Нет, ты обнаглел!.. – строго выговаривала слова Надежда. – Отец ждет тебя пахать. Обещал у них телевизор наладить. Когда это кончится, Виктор?!

– Надька, дай десятку!

– Ага, счас. Я шла и всю дорогу думала, как бы тебе дать десятку. Не дай бог, не допьешь.

– Точно, не допил.

– Нет, ты погоди, Надежда. Ты вникни. Суть дела не в том, что мы не допили. – Яшка встал и подошел к Надежде.

Петр Матвейч глазам своим не верил, так изменился Яшка. В одну минуту. Глаза заблестели, зажглись, как у кота. Он весь напряжился, движения стали гибкими, плавными, только что не мяукал, но в голосе явно сквозило задушевное урчание:

– Надо спасти брата.

– Спасатели, – хмыкнула Надежда, с холодным интересом наблюдая за кошачьими ужимками собеседника. – Не было бы вас, алкашей...

– Надежда, тебе не идет грубость, – мягко увещал Яшка. – Ты ведь в шляпке. В шляпках не ругаются. Это не Нюрка вон Петрова. Там че ни ляпни, с нее спросу нет.

– Но-но, – встрял Петр Матвейч. – Смотри, а то я зубы-то выбью тебе. Будешь еще мою бабу трепать...

– Слышала? Каков поп, таков и приход!

– Я тебе че сказал!

– А тебе, дядь Петя, как не стыдно? Уж от тебя-то я не ожидала, что ты с этими алкашами свяжешься.

– Ну вот. – Яшка развел руками, прихлопнув себя по бокам, отошел от Надежды.

– Я вот скажу тетке Нюре, она тебе распушит куделю.

– О господи! Нюрке говорить, – усмехнулся Петр Матвеич. – Она уж наперед тебя все знает. Ты еще на порог не ступила, она уж услышала.

– Во, даст она тебе.

– Это конечно... У нее не задержится...

Петр Матвеич, глядя на Надежду, вспомнил, что живет она возле столовой, в низенькой избенке своей бабушки, покойной Авдотьи, у которой выросла. А к родителям она не вернулась. Так и живет одна. Работает в столовой, вытеснив оттуда своим дипломом старую бурятку Завьялову. Вроде бы столовую закрывают. В поселке уже закрыли начальную школу, детский сад, очередь за столовой. Но она все держится, то ли стараниями Надежды, то ли тем, что машины еще ездят в Тунку. Автобусы ходят в Аршан, и проезжие останавливаются перекусить в столовой. Это летом. А вот что будет зимой...

– Ну ты, козел. Фу, какой поганый! – Надежда вскочила со стула, отгоняя козла.

Делала она это по-детски, манерно растопырив прозрачные пальчики крошечной руки, и с брезгливым выражением на острой «льдинке» лица.

– Ну, ты посмотри, как ты живешь?! Хлев и хлеб!

– Пришла бы да вымыла...

– Счас! Для твоих алкоголиков...

– Дай десятку!

– Счас! Разбежалась! У скотина, какая пакостная-то. Че ты распустил его? Сдал бы мне в столовую. Я б тебе деньги выплатила.

– Кто его жрать будет, невыложенного? Его выложить надо, потом жрать, – укорил ее Яшка. – Дай вот брату десятку, он выложит...

– Он выложит!

– Да не он! Вот Матвеич выложит!

– Матвеич и без десятки управится...

– Дура. Во дура! – прорычал Витек. – Чем яйца мыть козлу? Ты че, хочешь, чтоб подох... это самое, Боря Ельцин?

– Да попередохли бы они, оба...

– Надька, посажу! – пригрозил Яшка.

– Ага... Отсаялся... Люди пашут вон! Тебя отец ждет. Договорился, что лошадь приведут. Ты, скотина, че делаешь?! – В голосе ее зазвенел металл.

– Не выражайся! Разуи глаза-то! Кто сегодня пашет... Грязь месить.

Надежда вздохнула, поискала глазами зеркало по стенам, не нашла и стала поправлять на себе косынку и волосы, перед тем как надеть шляпку.

– И че он только жрет у тебя? – заметила она, оттолкнув, словно прилипшего к ней, козла.

– Он не жрет. Он закусывает, – изрек Яшка.

– Остряк-самоучка. – Надежда холодно глянула на него. – Расселся, гляди. На тебе пахать можно, а ты брата спаиваешь. И все на халяву. Я уверена, что на халяву пил. – Она говорила все это со спокойным предрешением, выпуская из полузамерзших губ ледышки-слова.

– Ну, это ты обижаешь, – остановил ее Клещ. – Он, братец твой, тоже не миллионер. Самому пить каждый день, да еще поить кого-то. Тут обоюдная любовь. Когда он, когда я...

Петр Матвеич почувал, как жаром заливается его лицо. Он встал было, чтобы потихоньку двинуться к двери, но Яшка тем же движением обеими руками усадил его за плечи на место.

– Надька, ну хватит базарить. Короче, это самое, давай десятку. Я завтра приду к отцу. И, это самое, у тебя все сделаю...

– Поверила я тебе, как же! Я их че, кую, десятки? Столовку закрывают... Вот. Третий месяц без денег сидим...

– Ну это ты врешь, чтоб в столовой вы без навару жили, – усмехнулся Яшка...

– Я вру?! Это я вру?! Иди вон проверь!

Надежда закурила снова. Курила она как-то по-женски – нерасчетливо, жадно. Затагивая дым, она вдувала в себя щеки, и личико ее при этом старилось. И это было первое, пусть тяжелое, но естественное выражение «студеного» ее личика. Петру Матвейчу стало жаль ее. Когда Надежда курила, то напоминала ему Тамару. Такая же нервозность лица и желтых от табака пальцев. И эта внутренняя суетливость, которая прорывалась сквозь внешний ледок, и зачастую выливалась в истерику. Он подошел к ней и погладил ее по голове. Совершенно неожиданно для себя. Все замолчали, а Надежда вдруг заплакала:

– Ты только тянешь с меня и с отца. И с матери. Это она избаловала тебя. Я знаю, она всю жизнь тебе тайком совала... Потому от тебя и жена ушла. Потому что ты захребетник. Если б ты рос, как я, с шестнадцати лет самостоятельно...

– Кто захребетник... Кто... Я?! Я! Я захребетник! Да она от меня три шкафа тряпок увезла. Телку продала, козу Райку увела...

– А детей! Ты забыл про детей. Или ты их каждый день кормишь?

– Ну, не ты же...

– Дурак! Скотина! Чтоб ты сдох, со своим козлом вместе! Я пойду и скажу все отцу. Хватит тебя покрывать. Они тебя вырастили таким и пусть расхлебывают сами. – Надежда схватила со стула шляпку и рванулась к двери, но Витек опрометью кинулся ей наперерез, закрыл дверь собою, широко раскинув руки, и, смешав в голосе угрозу с просьбой, улыбнулся простодушной младенческой улыбкой: – Надька, дай десятку...

\* \* \*

Козел молчал, только судорожно дергался, пока Петр Матвейч резал его мошонку, и только когда он потянул за яички, отрезая их, он закричал пронзительно и как ребенок. Яшка изрядно струсил. Вначале он хорохорился и пытался поймать за ноги козла, чтобы держать их, но Петр Матвейч решительно отогнал его, спутал передние и задние ноги животного, стянув их в узел на животе. Витек вообще не выходил из дома. И даже ставень закрыл, чтобы ненароком не глянуть. Так что всю операцию Петр Матвейч производил один, работал неспешно и тщательно, как всегда, негромко приговаривая козлу:

– Ну, ну... Боря Ельцин, потерпи, козлище! Ты вишь переборщил, паря. Так нельзя – на баб! Это, брат, нехорошо. Мы же люди. Мы своим-то человекам не позволяем на своих баб прыгать. То-то! Не надо было козу терять. Потерял, другу найди...

Когда он промыл и зашил мошонку, встал, вытирая ножи. Потом перерезал тупым ножом путы. Козел стоял и качался. Потом, шатаясь, пошел к огороду.

– Ну ты и садист! – Яшка выглянул из сеней и, подойдя к Петру Матвейчу, поднял с земли бутылку водки, удовлетворенно отмеряя, сколько осталось.

– Могу и тебе устроить, – деловито предложил Петр Матвейч, моя руки в бочке с водой. – Водка еще осталась. Никаких проблем не будет. Спать будешь по ночам, как цуцик.

– Спасибо, не надо!

Витек не вышел из дома, пока его не крикнули и не уверили, что все кончилось. Вышел он потный и красный, как рак.

– Ну, это самое. Ну, вы даете, мужики!

– Да уж мы постарались, – петушился Яшка. – Теперь тебе, Витек, не об чем думать. Бабы ругаться перестанут.

– Ты его только не выпускай дней десять, – предупредил Петр Матвейч. – А то уйдет... Запри его в стайке. Ну, ладно, кранты, мужики. Пошел я к своей...

– А это? – Витек побулькал у него под носом остатками водки. – Тебе первый ковш.

– Не, я все! Не выпускай, говорю, козла...

Обратный путь казался Петру Матвейчу длинным. Хотя шел он быстро, скоро. Дождь кончился, грело неяркое вечернее солнышко. Последний луч его медово ложился на дальнюю сопку, и она нежно и неясно зеленела. И этот луч почему-то навевал мысли о Нюрахе и о нем самом. Он бы не сознался себе сам, но все, что ни попадалось ему на глаза, все навевало мысли о ней и их совместной жизни. Потому что последние годы он думал только о ней. Когда дети рождались и росли, вместе с их хозяйством, Нюраха с Петром были единым телом и душой, а сейчас они как бы разделились. Он думал о том, что день прошел задаром. Он столько загадывал сделать в этот день. Копать, конечно, еще рано, но можно было повозиться с парниками, нагреть воды в бане и пролить горячей водою землю под пленкой. Да заодно и попариться с Нюрахой. Ведь суббота. Да и полы в бане прогнили, она права, нужно менять две половицы. И столб в огороде совсем сгнил, он давно приготовил новый, но все некогда заменить. Жаль было дня, проведенного вне своего двора и без Нюрахи. А раньше его так не тянуло к ней. Может, просто не думал об этом. Без того забот хватало. Детей росло полон дом: свои, племянники, сироты какие-нибудь. Одной своей семьей за стол никогда не садились. Кастрюли варились ведерные. Круглыми сутками томились щи в духовке, кипела картошка в чугуне, доставалась своя сметана из подполья. По ночам сбивал Юрка сливки. Днем ему не хватало времени. Скота держали – стадами. (Тогда Брежнев, этот замшелый пень, дал деревне пожить. Как раз сразу после Хрущева.) И всем хватало и хлеба, и Нюрахиной руки, и угла в доме... В эти заботы, как сквозь решето, и просачивалось их внимание. А сейчас они друг для дружки. Все отлетает от двора. Всякая жизнь отходит. Да, какая бы она ни была жизнь, и эта проходит. Гулькин нос остался им жить... И тут он вспомнил, как увидел ее впервые.

Он видел ее и раньше, но заметил именно тогда. Они шли в клуб с ребятами. Он, конечно, в центре, с гармошкой, в кепчонке на веселых, молодых кудрях. И пел он что-то молодое, вольное, с похабинкой... И она вылетела из своих ворот с пустыми ведрами на коромысле. Только ведра позвякивали. Компания остолбенела от неожиданности. Гармошка у него в руках резанула и замолчала.

– Ты чего, девка, с пустыми ведрами под ноги кидаешься?

– Погоди, счас поправлю беду. – Она так сверкнула на него глазами. Круглыми, яркими. Он заметил сочный, вишневый рот и стоял, как вкопанный, пока она не вернулась с полными ведрами. Прошла мимо, плавно покачиваясь, прямая, с высокой темной, гладко зачесанной головой. Это она уж потом призналась, что поджидала его с ведрами, приглядывая в щелочку калитки. Тогда он хаживал к красивой разведенке Наталье и провожал из клуба Клавдийку. Он бы и женился на Клавдийке и прожил бы с нею размеренную, сытную жизнь, без той горячки и нервных истерик, которыми изобиловала их жизнь с Нюрахой. Но уж как прожились, так прожились. Он тоже не медовый был, не сахарный. Подпорченный бабьим вниманием. В те времена легко было портиться. Полсела только баб одиноких, не говоря уж о девках, которые росли и росли. И казалось, что его на всех хватит. Поэтому он не очень обрадовался, когда Нюраха сообщила ему о своем «положении». И тянул, тянул с женитьбой. А она все нервничала, плакала. Потому что Юрка мается, что он нежеланный был на земле...

В свой двор Петр Матвейч вошел крадучись. Калитку тихо прикрыл, чтоб не стукнула. Подошел к окну и заглянул. Нюраха сидела на кухне и листала альбом с фотографиями. На носу у нее сидели очки, но каждую карточку она подносила близко к очкам, а потом отводила на уровень протянутой руки. Потом вытирала под очками слезы. Петр Матвейч от неожиданности

кашлянул. Она вздрогнула, захлопнула альбом и сунула его в ящик буфета. По крыльцу он ступал громко и неспешно и долго возился в сенях, чтобы она успела положить альбом на место.

– Приперся, – буркнула она, встречая его у дверей, и кинула ему в ноги тапки.

Петр Матвеич снял куртку, повесил ее за ситцевую занавеску на вешалку, потом тщательно мыл руки в углу из умывальника, часто трогая его «сосок», обмотанный белой тряпочкой. Полотенце было прохладным, пахло ручьем и поскрипывало. Потом он прошел к печи, трогая горячий камень руками. Запахло щами. Нюраха уже наливала в его глубокую миску щей из детской кастрюльки, которую она оставила для него в печи. И он, маленькими глотками вдыхая душистое благоухание родного тепла, дыша им, как ребенок матерью, сел за стол, отрезал себе хлеба и взял деревянную, с цветочками ложку. Петр Матвеич молча хлебал напревшие щи, а Нюраха топталась по кухне, негромко шкворчала, источая из себя привычный, домовитый и сытный жар, который не давал ему дремать никогда.

– Мог бы и не приходить. Шел бы, куда шел. Я не пропаду. Это ты голодный пришел. Че не накормили тебя козлятиной? Домой вернулся. Что ты, горе какое! Баба обидела! С кем ты пьешь? Ты подумал?! И та тоже причесала. Сестренка. Ей уж за тридцать лет. И дипломы не помогли. И хоть заведует столовой, а все одна. Там в доме, говорят, только черта лысого нет, и никто не зарится. Ешо бы золотом промеж ног помазала. Может, и найдется кто...

– Как ты несправедлива! – вырвалось у него. – Ну, что ты девчонку позоришь? Что она тебе сделала?

– Какая она тебе девчонка? Защитничек! Там пол-Почекалово перебивало, может, и ты попробуешь?

– Ну, дура! Вот дура какая!

– Я тебе сейчас дам дуру! В доме все стоит и едет. Малина весь огород задавила. Вчера по телевизору сказали, что ее надо еще в марте вырубить, а ты в мае не чешешься...

Петр Матвеич дохлебал щи, привычно удивляясь всезнайству супруги.словно в дозорную трубу глядела и все видела, что делается в басмановском доме. Потом Нюраха подала ему гречневой каши, залив ее молоком, и он хлебал ее, как щи, а к чаю он съел утреннюю лепешку, чуть подсоленную, но теплую и вкусную.

– Иди-ка закрой парники, – сказала она, – а то я застыла сегодня. Проливала их кипяточком. А к вечеру уж огурцов натыкала. Да и в баню воды натаскала. Завтра уж протопим...

Петр Матвеич нахлобучил кепку и вышел. После тепла и щей ударило свежестью сырой и крепкой. Дожди промывали снеговые шапки гольцов, ручей полнился, кипел. Воды его шумели, как застолье в праздник. Дождя не было, но небеса еще пучились, тучи, как раскормленные шуки, рыскали низко и угрожающе. Большой огород лежал сырой, растерзанный, ожидая его рук. Земля лоснилась и тянула к себе.

Петр Матвеич потрогал ладонью середину вскопанной Нюрахой грядки. Недра земли еще холодили. Садить рано, но копать пора. Петр Матвеич виновато оглядел огород: заждался, родимый, беспутного своего хозяина. Жалко было дня, потерянного без этой земли. Нюраха вон в дождь две грядки вскопала. Петр Матвеич поднял с земли оставленные ею лопату и грабли, унес в сарай. Потом потрепал за загривок Кабыздошку, которая от неожиданной ласки хозяина суетливо повизгивала и лизала ему руки.

Дома Нюраха смотрела телевизор, лежа в горнице на диване и водрузив очки на нос. Петр Матвеич прошел холодную горницу, которую не любил, и в своем закутке лег на кровать поверх покрывала.

– Скинь покрывало-то. Сейчас портянку сделаешь из него. У меня руки не казенные – стирать.

Петр Матвеич послушно встал, скинул покрывало с кровати на лавку. Нюра вошла к нему в комнату, аккуратно сложила покрывало и села подле него на лавочке, плотно прижавшись спиной к печи. Оба молчали, глядя на низкое небо над голой рябиной в окне.

– У всех дети как дети. У одного в институте. У другого замужем. А у нас, Петька, хуже всех дети. Тюрьма да... – Она плакала тихо в подол крайней юбки, вытирая им нос и слезы. – Но почему, почему?.. Может, они проклятые у нас? Мне кажется, твоя мать их не любила...

– Ну, ты скажешь тоже! – Он отвернулся к ковру и замолчал. Она всхлипнула в последний раз, вздохнула и ушла к себе...

\* \* \*

Ночью он проснулся от постукивания в окно.

– Дождь, что ль, опять? – негромко сказал он себе.

Нюраха вдруг отозвалась, сразу и охотно.

– Развиднелось. Вон звезд сколько! Утром приморозит.

– А я тебе говорю – это дождь стучит.

– В башке у тебя стучит. От перепоя. А у меня звезды светят. «Ковшик» вижу...

– «Ковшик» у нее, глянь. Чему тебя только в школе учили? «Ковшик» на севере, а ты на западе спишь.

Он встал, прошел холодную горницу и долго пил воду на кухне прямо из ведра. Впотьмах не нащупал ковш, а свет зажигать не хотелось. Потом, по очереди откидывая крючки на кухне, в сенцах, на веранде, вышел на крыльцо. Дождь стучал дробно и сочно, бил он крупнее, чем днем. Верный признак, что скоро он закончится и установится долгая ясная погода.

Пора бы. Где-то в России уже отсырелись и яблони в цвету, а у них еще не пахали, и лист не распустился даже на березах. На западе, куда выходило Нюрахино окно, развиднелось, и ясный клочок неба был усыпан звездами. Он постоял еще немного, глядя, как налетевший верховик треплет, треплет голую гривку рябинки, зевнул и пошел в дом.

– Вот потрогай майку, – сказал он, входя к Нюре в комнату, – мокрая, – дождь идет.

– Ты воду вон пил и замочился, – ответила она.

Она полусидела на постели, и он различал ее тонкие руки и, главное, волосы, распущенные по плечам. Он редко видел ее простоволосой. Она носила платки. И этот силуэт жены, помолодевшей во тьме, волновал его. Он помолчал, глядя на нее, потом неожиданно для себя сказал:

– Знаешь, Нюраха, я думал про наших пацанов. Оно с какой стороны глядеть. Вон сколь Горбач горя нам принес, а этот алкаш!.. А они, поди, по тюрьмам не сидели. И сколь их таких. Ими, поди, родители гордились, карьера: Россию всю переломали. А наши только свои жизни ломают. Может, перемучаются да вернуться. Господь ведь по-своему судит. Не по-человечески. Академики эти сколь народу перепортили, Чернобыль этот...

– Пе-еть-ка! – протянула она испуганным и радостным шепотом. – Ой, Петька! Ты сам, что ль, додумался?

– Думаешься, горе раз такое, – вздохнул он. – Одна ты, что ль, переживаешь? А у меня сердца нету?!

– Наладятся они, – подтвердила Нюраха, – вот я чувствую, что наладятся. Счас время такое. Да ты и сам сколь бродил.

– Да, да, – поддержал он ее. – Надо переждать, перетерпеть. А ты бы не ругалась так, Нюраха. А то без того сердце болит, да еще если по мелочам дергать, дак мы не протянем долго.

Он гладил ее руки.

– Отстань, не надо! Иди вон к Надьке Басмановой.

– Ду-ра! Во где дура-то!

– Я-то, конечно, дура.

Она иногда умиляла его каким-то движением, быстрым и плавным, оставшимся от молодости.

– Знаешь, где «ковшик-то»? Он на кухне. А у тебя Венера светится.

– Иди ты! – удивилась она. – Откуда ты знаешь?

– У меня по астрономии пятерка была.

– Врешь ты все. У нас сроду и учителя такого не было.

– Как не было?! Все-то ты забыла!

Комната ее была душистая от всяких женских запахов: духов, мыла, кремов, которыми любила себя натирать и душиться Ньюраха, но его волновал всегдашний ее запах. Это запах свежести, даже сырых промытых камешков, молодой речной прохлады. Может, потому, что она всегда полоскала в ключе белье, может, еще отчего. Но он слышал этот запах, пробивавший всю эту пряную дрянь, горячо витающую в воздухе.

– Речкой от тебя пахнет, – вздохнул он.

– Че-го?

Он хотел ей сказать, что бывают бабы жаркие и жирные, как земля в июле, а бывают, как огонь, а она, Ньюраха его, что речушка чистая... Но вовремя остановился. За такие познания он вполне мог в лоб схлопотать, а ему вовсе не этого хотелось...

\* \* \*

Снилось ему что-то молодое, легкое. Он несколько раз просыпался утром и, открыв глаза, узнавал знакомые силуэты своей комнаты, услышав отдаленное дыхание жены, блаженно улыбался и тут же возвращался в то счастливое, что щедро дарила ему эта ночь. Утром он услышал ее зевек и проснулся готовно и радостно.

– Ньюра, че снилось? – спросил он.

Ньюраха молчала.

«Опять...» – подумал он и выглянул в окно. Рассвело, но солнца еще не было. Рябинка стыла, вся усыпанная крупным жемчугом недавнего дождя. Капли застыли и на протянутой веревке для белья, и на спинке старого стула, валявшегося на траве, прошлогодней и рыжей, которую по утрам все еще била изморозь.

– Пойду, – сказала Ньюраха, – проверю навоз. Таскают, падлы, навоз. Давеча бежит старуха Матрена с ведром и – к моей куче, а я встала и стою. Увидала меня – и по дороге навоз собирать.

– Она по дороге и собирает. Напридумываешь на людей. Ну кто ночью за твоим гамном полезет?!

– Я за это гамно пенсию свою отдала, – ответила Ньюраха, зевая за перегородкой, скрипя пружинами кровати и шурша юбками.

– Да полежи ты, дуреха.

– У тебя для меня только «дура» да «дуреха», а другого имени нету, – говорила она уже на кухне добродушно.

Потом раздался густой зев открывающейся двери, и Петр Матвееч стал смотреть в окно, как она проходит по ограде, запахивая на себе старую его телогрейку, чуть согнувшись, глядя в землю и что-то бормоча про себя; за ней, помахивая хвостом, плетется Кабыздошка, и у обоих какое-то одинаковое, одинокое и понимающее выражение в глазах. Возвращалась она не сразу, шла с криком, на ходу пнув таз на траве. Петр Матвееч настороженно приготовился.

– Ну, – яростно наступила она с порога. – И когда ты сдохнешь?! Навязался же ты на мою голову! Чего ты лежишь?!

– Ну, че, чего ты? Говно твоё, что ли, уперли?! Чего разошлась?

– Нет, я тебя спрашиваю. Ты сдохнешь когда-нибудь?

– Ну, сдохну, сдохну! Чего тебе?

– Ничего, старый хрычара! Зарезал ты меня. Без ножа. Еще лето не началось, ты меня уже без огурцов оставил. Не видать тебе, козел, огурчика зимою.

– Нюрк.

– Вот те и «Нюрк»! Нажрался на халяву-то! Увидал юбку помоложе и провалились земля и небо, я на кочке буду жить. Поживи теперь, а я завяжу глаза да в лес пойду.

Тут только Петр Матвеич вспомнил, что вчера он, постояв в огороде, вернулся домой, не закрыв парники с огурцами.

– Я за семенами в город моталась. Два дня потратила. А денег сколь извела. Пакет – десятка. Там в пакетике пять семечек. Погубил, погубил меня, петушина гребанная. Жизнь погубил мою. А я на них ночь смотрела и не ведала, что гибнут они, росточки мои.

– Вчера только посадила, уже росточки! – Петр Матвеич пожалел, что огрызнулся. Голос супруги как-то разом вскипел.

– Тебе, конечно, ничего не жаль. Ты залил зенки – и хоть бы хрен по деревне... Увидал бабу стриженую – и давай скакать, как Боря Ельцин! Козлице ты поганое. Вражина ты мой! Всю память потерял вокруг этой бесстыжей.

– Что ты ее трогаешь? Ну вот что ты бабу бесчестишь? Там смотреть-то не на что. Не баба она, мышка...

– А, мышка! Мышка, значит. Она до чего уже дело дошло?! – Она вылетела из комнаты, явно в поисках швабры, которой обычно дралась с ним.

Петр Матвеич дернулся и вскочил с постели. Он совсем забыл, что сегодня ночью в порыве нежности называл ее своей Мышкой. Нервно натянул он на себя штаны, заглядывая сквозь занавески в залу... Нюраха налетела, как рысь. Швабра припечаталась как раз ко лбу. Из глаз Петра Матвеича реденько, но высыпали искорки.

– Че, ошалела? – крикнул он, потирая ушибленное место.

– Я ошалела, а ты нет! Под хвост сучке своей кинул мою пенсию, а я молчи. Да, петух гребаный?!

– Кто?!

– Ты!

Петр Матвеич молча сел на постель.

– Иди, иди, – подтолкнула она его. – Шуруй, как вчера. С утра. Там уж ждет тебя ненаглядная. Заждалась.

– Во! – Он, выглянув в щель занавески, постучал кулаком по своему лбу, но тут же получил еще удар.

– Все! – твердо рявкнул он. – Все! Конец! Край!

– Напугал! Гляди-ко! Да я рада не рада буду, если ты уйдешь. Всю жизнь мне перепортил, вражина!

Петр Матвеич надел на босу ногу сапоги, свитер прямо на майку, вчерашнюю куртку и кепку. Встал у порога.

– Все, – сказал он. – Больше ты меня не увидишь в этом доме.

– Иди, иди... Чтoб духу твоего здесь не было. Надоел хуже горькой редьки. Одни убытки от тебя. Одна-то я проживу еще лучше. А тебя только корми. Толку от тебя, что от Бори Ельцина...

Калитка сухо пристукнула за его спиной. Петр Матвеич встал, раздумывая, куда идти. Тонкий морозец защипал щеки и полез под рукава худенькой его куртешки. После дождей били утренники. Морозец сладил дыхание. На траве и крышах лежал иней.

«Огурцы-то побило!» – подумал Петр Матвеич и, втянув шею в ворот куртки, побрел вдоль дороги. Нюрахе было отчего сердиться. В этом году семена особенно трудно достались.

И деньги, и дорога, и время, а он все труды ее, как корова языком – единым махом... Потому и выиграла в ней бабья дурь! Это с одной стороны. А с другой – в последние годы в ней особенно стала заметна внутренняя порча. Первый знак старости – скупость, он и не заметил в ней сразу и не поверил вначале, когда ему сказала об этом дочка Шурочка. Всю жизнь Нюраха была так щедра, что и семья страдала от этого. Последнее отдаст. А тут начала высчитывать, выгадывать. И все ей кажется, что у нее воруют. Утром встанет – пошла двор обходить. Кричит с порога:

- Петька, воры были!
- Че, дырявую кастрюлю твою уперли?
- Смейся. Я вчера в заборе отметину делала, а сегодня ее нет.
- Ветер снес.
- Ветер с двумя ногами!..

Как огород начинается, Нюраха теряет покой. Каждый огурчик у нее на примете, каждое утро всякий овощ пересчитывает и вздыхает.

- Чистят, чистят окаянные. Морковку ночью драли...

Петр Матвеич запнулся о камень на дороге. Ушибленная нога больно защемила. Он чертыхнулся и встал на дороге. Кто бы знал, что она такую жизнь выдастся. Что такую горькой будет старость и такими несчастными и неблагодарными вырастут дети...

- Пет-рул-ля-я! Куда с утра лыжи вострим?

Меньше всего он хотел видеть сейчас Яшку, но Клещ уже пролезал сквозь свою потайную лазейку. «Дежурит он, что ли, в огороде», – подумал Петр Матвеич и грубовато ответил:

- На кудыкину гору...
- Ворота у Басманова были открыты настежь.
- Живы ли?! – вырвалось у Петра Матвеича.

Двор был пуст. Клещ до крыльца пинал пустую консервную банку, как шайбу. Посуда, разбросанная по ограде, была грязной, но еще целой, и, видимо, Витек, вынося козлу похлебку в кухонной посуде, так и оставлял ее в ограде. Двери веранды, в сенцы и кухонные – были открыты настежь.

- Ви-т-е-е!.. – крикнул Яшка.
- Ты живой! Эй, есть кто дома?

Они потоптались по грязной, холодной кухне. Заглянули в запечье, прошли в комнаты. Дом Басманова перегороден на две половины. Из обеих несло нежилой стылостью, чем-то могильным...

- Витька, ты где?
- Здесь я, – мрачно откликнулся хозяин из дальнего угла.

Витек лежал в углу на кровати, поверх покрывала в ботинках и брюках, заложив руки за голову. Ранний свет, живой и яркий, падал на помятое его, хотя и молодое, лицо, и было на нем какое-то выражение глубокого, стариковского одиночества.

- Чего ты? – Яшка навис над кроватью. – Чего раскрылся-то весь?
- Ничего. Козла жду!
- Я ж тебе говорил, едрит твою в капусту, не выпускай. – Петр Матвеич с досадой закурил.
- Ну, говорил же тебе?!
- Я че сделаю-то, если он просится!
- Кто?!
- Козел.
- Во дурак! Теперь он не вернется. Зря мы вчера старались.
- Как это? – Басманов приподнялся. – Как это он не вернется?!
- Вот так и не вернется!
- Че, совсем?
- Может, и совсем... Как далеко уйдет. Зачем пускал-то! Я же говорил тебе.

Басманов резко вскочил с постели, пнул консервную банку, валявшуюся на полу. Она жестяным своим звуком завизжала в ушах. Потом он обошел комнаты, заглядывая, надеялся найти в них козла, вышел в сенцы, на крыльцо, прошелся по двору. Петр Матвейч с Клещом волоклись за ним, как за иголочкой ниточка.

Постояв в раскрытых воротах, Витек вышел на улицу и пошел вниз по дороге. Яшка двинулся за ним, Петр Матвейч задержался и прикрыл ворота. У магазина они оказались быстро. Прошлись мимо ларька, козырнув вороньей голове Файки, неугомонно каркающей в раскрытое окошечко, кавказец стоял у ларька, зорко оглядывал прохожих.

– Че, твоя Надька не пристроится так вот, – кивнул Яшка в сторону кавказца. – И сыта была бы и нос в табаке.

– Надька! – рявкнул вдруг Витек и приостановился, – точно Надька! – Он крутанулся и пружинисто рванул в обратную сторону.

Друзья развернулись за ним. Столовая еще была закрыта. Надька выглянула в дверях и недовольно скривилась.

– Чего еще надо?! Чего приперся-то?! И этих алкашей приволок!

– Надьк, – взревел Витек. – Сеструха!

– Уже налился! – Надежда выбрасывала им под ноги деревянную тару. – Больше не получишь. Уж будь спокоен.

Маленькая, худая, в черном рабочем халате, она показалась Петру Матвейчу совсем пигалицей, и было жалко ее и нехорошо, что ко всему надорванному в ней еще и братец жизни не дает; и он, Петр Матвейч, второй раз портит ей настроение. От неловкости Петр Матвейч взялся складывать тару у забора.

– Не мылся, дядь Петь, бриться не будешь! стыдно тебе, дядь Петь, с этими алкашами с утра шакалить. Мог бы и их научить разуму! Э-э-эх, мужики. Провалились бы вы все! – Она захлопнула перед носом брата дверь, но Витек быстро ухватился за ручку двери. Надежда пыталась закрючиться изнутри, но не успела. Брат оказался сильнее и сноровистее. Через минуту он влетел в столовую, и из-за двери сразу пошел шум и треск, раздался наступательный Витькин бас и пронзительное, отбивающееся верещание Надежды.

– Дерутся! – со значением заметил Яшка, а Петр Матвейч от расстройства сел на тару и стал думать о том, что надо бы защитить Надежду.

Витек вылетел, как и влетел, красный и потрепанный.

– Ладно, ладно, сестра! – крикнул он. – Рассчитаемся, ладно. Козла моего, Борю Ельцина, не пожалела...

Он сунул руки в карманы и так быстро помчался от столовой, что попутчики едва успевали за ним. В минуту они оказались у старенькой избушки Надежды. Избенка Надежды была совсем стариковская. Поставленная, как большинство в селе, «на стаканы», без фундамента, она давно осела, и окна ее уже врастали в землю, крыша, еще покрытая дранкой, ссохлась и почернела, труба, небеленная со смерти старой Басманихи, ободранно и тоскливо торчала посреди зияющей в крыше дыры. Однако яркие тюли и занавески, как сияющие глаза на старушечьем лице, изобличали молодую, современную хозяйку. Витек уверенно прошел в калитке и толкнул ее. Она тут же отпала. В ноги к нему выкатилась с лаем пушистая псинка, но узнала его и, махнув хвостом, запрыгала у его колен. Витек подбросил вверх ключ, внезапно возникший у него в руке, и воткнул его в замок.

– Козла она моего не пожалела, Борю Ельцина, – ворчал он, открывая дверь. – Заходи, мужики!

Войдя в избу, Петр Матвейч нерешительно затоптался у порога, а Клещ уверенно прошел в комнаты, не оглядываясь, будто в свой дом. Витек с порога прошел к кольцу подполья, опрокинул творило и исчез в темном подполье. Глухой грохот сразу раздался из-под низу.

– Во, накопила-то, – слышалось снизу, – на три жизни хватит.

Яшка тут же исчез в подпольном проеме, а Петр Матвеич вздыхал и глядел в огород, на тяжелую маслянистую землю, на черный колодец с журавлем – и вспомнил, как много лет назад они рыли со старым Басмановым этот колодец. Как искали жилу дедовским способом – ячком на овечьей шкуре, закрыв его чугуном, и спорили, и доказывали друг дружке. Басманов был высокий, сухой, выдубленный, как старое дерево; говорил мало, но со значением, а когда матерился, то отворачивался от собеседника. Борода – бела как лунь, длинная, кержацкая, по ветру развевалась. Старуха же его к земле гнулась, перекутило ее, что улитку, без палки и не ползала по двору. Бражку добро варила. Вон у той колдобины, в кустах смородины, они пили ее. Надька бегала между грядок и таскала им на закуску редиску или огурцы, а старая Басмануха сердилась и, отозвав внучку в ограду, драла ей уши. Померли они, как и положено, «в один день», то есть друг за дружкой, хоронили их без печали. Сейчас же, сидя на порожке этого дома, Петр Матвеич угрызался совестью, что смущает их внуков, и подумывал потихоньку уйти. Он больше не имел сердца на Ньюраку, злость прошла, а басмановская земля напомнила о своей, которая тянула к себе, как баба, и сиротела без его рук. Солнце упрямо било в промытые стекла, оттого они весело искрились, разбрасывая свет по низенькой и прибранной Надеждиной избушке. Избушка с тех лет только сменила мебель. Вместо железных кроватей с начищенными набалдашниками стояла тахта, вместо этажерки – две книжные полки, да нет комода, да новая посуда в серванте, а печь та же, только рядом стоит газовая плита, поставленная еще в те баснословные брежневские времена. И на всем такая-то старушечья разжиженность, бесцветность и одинокое что-то... Он подумал, что это стариновское одиночество в молодых Басмановых не от дедов их, а от матери – как ее звали на селе, «западэнки», холодной и красивой Людмилы, которую Басманов Сашка привез после армии с Украины. Надежда только красотою не удалась, а такая же надменная и расчетливая, как мать, а Витек – в Сашку, отца...

Витек выставил на пол две бутылки водки, а Яшка вылез с банками консервов.

– Видал сестрицу? – заметил Витек, закрывая подполье. – Там у нее на три войны хватит.

Яшка что-то соображал свое, это Петр Матвеич понял по блеску его бегающих, хитрых глаз.

«Мышка-норушка», – подумал он о Надежде и встал с порожка.

Первая рюмка прокатилась по нутру, как по маслу.

– Старая, что ль, водка, – удивился он, – не дерет совсем.

– А как же! – ответил Витек. – Там у нее, поди, с брежневских похорон все стоит. Думает, я не найду. Я у нее с детства все находил, это самое. Двоек нахватает и спрячет дневник в подполье. Я же все ее заначки с пеленок знаю. Найду дневник – и к мамке.

– Да ты ябедой был?! – ковыряя вилкой тушенку, деловито заявил Яшка.

– Да, это самое, как доведет. Она, знаешь, заноза-то добрая! До печенок, захочет, достанет... Козла моего, Борю Ельцина, и то не пожалела.

– Козла можно привести, – пообещал Петр Матвеич, – козу бы выпустить в лес, она его найдет.

– Зачем ему сейчас коза?! – захохотал Клещ. – Теперь его козою не выманишь.

– А я тебе говорю, козу надо, – повторил Петр Матвеич.

Витькина рука застыла на мгновение над стаканом, он что-то усиленно соображал, наконец понял, и лицо его просветлело. Он выпил свой стакан махом, не чокаясь, все еще раздумывая свою греющую его, как видно, мысль. Петр Матвеич ковырял вилкой в банке тушенку, томился и хотел домой, к Ньюраке, копать грядки. Яшке же становилось все лучше, лицо его расцвело, он по-барски развалился на стуле и как бы приценивался к Надеждиному дому, шурил глаз, медленно и зорко вглядываясь то в мебель, то в закрытое творило подполья, на его лице было четко написано, что еще не раз готов навестить хозяйку этого понравившегося ему дома, и Петр Матвеич опять вспомнил Варвару, ушедшую к нему от красивого и доброго мужика.

– К ней придешь – крик подымет, – вслух высказал свою мысль Витек. – Ей бы только поорать. Она почему как кишка-то стала тощая? Орать не на кого!

– Эт кто? – не понял Яшка.

– Райка, что ль?!

– Кака Райка! Стерва моя – Зинка. Она от Райки-то недалеко ушла. Такая же. – Однако тон его явно спадал. Он почесал затылок. – Не отдаст она козу. Заорет: «Куда?! Пропивать? Детей не кормишь, последнюю козу повел...» Такой крик подымет, там вся деревня сбежится.

– А ты ночью уведи. А че, две доски топориком, и за рога. Собака-то, поди, тебя знает, – подсказал Яшка.

– Собака знает! – обрадовался Витек и раскупорил другую бутылку. – Там одна собака меня и признает. Даже детки нос воротят. Раньше малыш мой с колен не слезал. А счас как ворон стал. Все бочком да молчком обходит меня, будто я его укушу...

Витек сел на своего конька, и полетела душа в свой рай. Он так смачно, образно выговаривал своей жене, будто она стояла напротив его. Вообще-то, она не покидала его ни на минуту потому, что он говорил о ней постоянно, возвращаясь к ней мысленно по любому поводу. В разлуке он был ближе к ней, чем в совместной их жизни. И сколько крови, сердца было в его горечи, что Петр Матвеич смотреть на него не мог долго – так человек мучается! Говорить особо было не о чем. Подвыпивший Витек знал только свою Зинку. Политику они не любили и не интересовались, что там наверху творится, как крысиные ходы роют эти неутомимые болтуны. И вообще, как только туман в голове рассеивался, каждый вспоминал, что май на дворе и народ пашет, и Зинка, и Нюрка, и Варвара копают свои грядки, и пить сейчас вроде как не к месту. Но эти высветы немедленно заливались очередной стопкой, и скоро туман в голове стоял густой, плотный и не рассеивался. Потом Витек с Яшкой снова исчезли в подполье, и на столе встали еще две бутылки и консервы. Одну банку тушенки Яшка молча запихал в карман своей телогрейки. Пить больше Петр Матвеич не желал, но Яшка упорно подливал, подносил, и наконец в голове стало совсем бело и плотно, и когда на пороге возникла прямая и твердая, как штырь, Варвара, молча глядевшая на своего мужа, Петр Матвеич с трудом узнал ее. Яшка молча вылез из-за стола и пошел к порогу – согнутый, припадая на ноги всем телом. Надев на себя телогрейку, он стукнул по карманам, обнаружил тушенку и, подумав, молча прошел к столу и сунул еще банку в другой карман. Мимо Варвары он не прошел – проскользнул.

– Как под конвоем, это самое, – басом вдруг сказал Витек, грустно глядя на супругов через окно. – Хорошо, что я развелся...

Они посидели молча еще, и Витек пошел воровать козу Райку, повертевшись почему-то перед этим у зеркала.

Петр Матвеич остался один и не знал, что делать. Он попытался встать, но не смог, попробовал дотянуться еще до рюмки и разлил водку. В это время дверь распахнулась, и он услышал крик. Обрадовался, потому что крик был пронзительный и чистый, как у Нюрахи. Но это была Надежда. Вернее, у него двоилось в глазах. То казалось – Нюраха, то Надежда. Надежда-Нюраха трясла его за плечи, он не понимал, что ей от него надо. Он хотел назвать ее по имени, но боялся перепутать. О том, что женщин путать по имени небезопасно, он помнил даже пьяный. А она кричала, плакала, даже стукнула его по голове сапогом, отчего он повалился на пол и все пытался ее успокоить. Но потом махнул рукой и сдался угарному туману, плотно обступившему его со всех сторон.

Спал он тяжело и беспробудно на крашеном холодном полу, раскинувшись руками и ногами, и по-мужицки, с присвистом, храпел. Проснулся рано от холода. Глянул по привычке в окно и удивился тому, что стекло разбито и что в дыре не рябинка, а черемушка.

Он сел на полу и увидел Надежду, нахохлившуюся и серенькую, как воробышек. Значит, это была Надежда, вспомнил он, и похолодел.

– Дядя Петя, что вы наделали? – горько сказала Надежда.

– Что, Надь? – негнушимся языком прошептал он.

– А вот что. – Она показала на разбитое окно.

– Это что, я?!

– Это тетя Нюра, – холодно ответила Надежда и ушла в горницу.

Петр Матвеич вскочил, подошел к окну. Через дыру тянуло утренним холодом и на траве лежала белая крупка майского утренника. Он простонал и сел на стул, обхватив руками низко склоненную голову:

– Че ж теперь будет-то?! – вздохнул он.

– Да уж было, – горько ответила Надежда.

Она вышла из горницы в пальто и возилась у печи, выгребая золу. Когда дрова в печи затрещали, она не закрыла печь, а глядела на огонь. На строгом ее, напряженном от внутренних дум лице играли огненные блики. Стол был пуст и прибран, пол помыт, только там, где спал Петр Матвеевич, оставался несвежий островок.

Петр Матвеич представил, как Надежда обмывала вокруг него, закашлялся.

– Досталось тебе, – посочувствовал он.

– Да уж, досталось. – Она вдруг всхлипнула. – Вас бы так. Или уже привыкли?

– Кто?! Ты о чем?

– О том, как она материла меня. На все Почекалово кричала. Теперь все знают, какая я сучка. Кирпичи в окно швыряла. Теперь мне по деревне не пройти.

– Пройдешь!

– Нет уж! Теперь я одна не пойду. Хватит, настрадалася! Братец родной называется!

Она заплакала сиротливо, по-детски вздрагивая тонкими прямыми волосиками. Петр Матвеич подошел к ней погладить по голове, но коснуться волос не посмел. Провел ладонью в воздухе и вздохнул.

– Ты, дядь Петь, стекла готовь. Улицу-то не натопишь. А я пока сварю чего-нибудь.

– Ладно. Я и дома позавтракаю.

Она как-то странно глянула на него, но промолчала. Надежда оказалась запасливой бабенкой. У нее нашлось и стекло, и алмаз, чтобы резать его, и всякий другой инструмент. «От старого Басманова осталось», – грустно думал Петр Матвеич, вставляя стекло. Не пораздала, молодец, не порастеряла. Вставив стекло, он протер его чистой тряпкой и увидел стайку баб за палисадом, зорко вглядывающихся в окно.

– Во базар! – простонал он. – Теперь пойдет работать телеграфа.

За спиной у старой бабы торчала Яшкина испуганно-любопытная голова. Он поймал взгляд Петра Матвеича и крутанул пальцем у виска.

Дело принимало слишком серьезный оборот. Надежда задернула занавески и подала на стол котлеты с кашей. Есть он не мог, но отметил, что котлеты столовские, плоские, а каша едва размазана по тарелке. Петр Матвеич вежливо расковырял котлету, но в горло она не полезла. Он вздохнул, оглядел небеленую печь и сказал:

– Однако ты бабенка хозяйственная.

Она усмехнулась и сразу постарела в этой усмешке. Потом вдруг поднялась, открыла шкафчик, достала вазочку с вареньем. Петр Матвеич вежливо взял в руки ложечку. Варенье было, как хозяйка, – никакое. Петр Матвеич похвалил варенье, а она не подняла глаз.

– Ну, ладно, сиди не сиди, а не наседка. Ничего не высидишь. Пойду сдаваться. – Он поднялся из-за стола.

– Ты, дядь Петь, никуда не пойдешь, – решительно сказала Надежда и побледнела.

– Как это не пойду? Я еще не обезножел!

– Обезножел! – Она прошла к двери и закрычила ее. – Ты теперь, хоть месяц, а живи у меня. – Надежда села на порог, перед закрыченной дверью. Говорила она устало и тихо.

«Спятила», – подумал Петр Матвеич и закашлялся.

– Надь, мне домой надо! У меня жена дома! Нюрка.

– Теперь я буду твоей женой... Не бойся, – холодно сказала она, – не взаправду. А месяц-два поживешь. Чтоб... я замужем была.

– Ты что, сдурела, дура? – До Петра Матвеича наконец дошло, о чем она говорит. – Да какая я тебе честь? Я старик! Я тебе в отцы гожуся!.. Ровно в отцы.

– Ничего! Обесчестить сумел и стариком. Вон они у окошка со вчерашнего вечера гуртуются. Опозорить опозорил, теперь обеливай. Я тебя сюда не звала. – Она всхлипнула. – Я тебя выгнать не сумела.

– Ну, ладно, Надь. Поговорят и забудут. Пусти. На каждый роток не накинешь платок. Пусти, мне пора.

– Нет, дядь Петь, не пущу.

– Во дура-то, а! Бабы же над тобою смеяться будут. Скажут, подобрала старика...

– Пока вон не смеются, окна бьют.

– Ну, ладно, ладно! Пошутили и будет.

– Да какие шутки? Я же сказала: не пойдешь. У меня и ружье есть.

– Стрелять будешь?

– Буду, – холодно ответила она. – Надо же мне свою честь защищать. Самой. Батяня у меня больной. Брат – пьяница. Приходится самой о себе заботиться...

Не успела она договорить, как на улице послышался шум, вставленное стекло окна разлетелось, и кирпич тяжело заскакал по столу.

– Молодожены! Эти вашу... Я вам покажу медовую жизнь. Я тебе, старый кобель, устрою веселую свадьбу! – Голос Нюрахи звонкой стрелой влетал в разбитое окно.

– Слыхали? – Надежда сжалась в кулачок. – Чего мне за так терпеть. Я хоть замужем побываю...

– Погодь-ка. – Петр Матвеич ринулся к двери.

– Не пущу! – Надежда раскинула руки.

– Да подожди ты. – Он аккуратно отставил ее в сторону и откинул крючок.

Во дворе на него фурией налетела Нюраха.

– Нюра, Нюр!.. Ну, что ты делаешь? Ты выслушай, разберись!

За воротами галдели бабы. На заборе висли ребятишки.

– Че выслушать?! Как ты тут с молодужкой разжарился? На всю деревню страму навел. Кочет ты гребаный. Дорвался до бесплатного, ложкой хлебал...

– Нюрка, дура!

– Я те дам дуру! Я те покажу дуру.

Лица у нее не было, на его месте живая, белая ярость сплошняком. Он не находил слов, чтобы успокоить ее, вернуть ее сознание, а только горестно и быстро повторял:

– Нюрка, Нюрка! Ты че делаешь, дура? Во дура-то... Иди домой, я счас приду.

– Я те приду! – Нюраха вдруг зашипела змеею и впиалась ему в лицо ногтями, разодрала щеки. Он едва успел отцепить ее руки, а то бы остался без глаз. Она билась, как птица, в его руках слабенько и отчаянно, и, вырвавшись, поддала ему коленом в запретное место.

– Чтоб духу твоего дома не было, проклятый. Нету у тебя дома теперь. Живи с этой шалавой. Ты пьянчужка, она сучка несусветная. На нее уж никто не смотрит, дак до стариков добралась. И детей у тебя нет, проклятый! Тетехайся с этой. Вы теперя парочка, баран да ярочка!

Петр Матвеич, пригибаясь, пополз в дом.

Надька стояла, прижавшись к шкапу, боясь показаться в окно. Губы у нее тряслись на бледном вытянутом лице. Петр Матвеич сел, и они молчали. Наконец там за окном потишело.

Петр Матвеич встал с табурета, глянул в дыру окна. Бабы стайка разлетелась. Только ребятишки глазели в дыры забора и приглушенно хихихали.

– Ух я вам! – крикнул Петр Матвеич. Послышался детский убегающий стукоток.

– Ну вот, – он обернулся к Надежде.

– Я пьянь, а ты это самое... Сама понимаешь. Куда ж нам теперь, раз мы нашли друг друга...

Надежда фыркнула, подернула плечиком и, пройдя в залу, задернула занавески. Петр Матвейч, посидев, вошел в залу. Зала у Басмановых была тесна и низка. Он еще с тех лет помнил, как уютно и тепло было у стариков. И он на секунду будто бы вернулся к ним.

Надежда юркнула в боковушку, предварительно выставив в проем двери стул.

– В мою комнату не входить! – пронзительно и тонко крикнула она и через минуту яростно добавила: – Никогда и ни под каким предлогом!..

\* \* \*

В гараж работать Петр Матвейч в этот день не пошел. Разодранное и вспухшее лицо его горело. Надежда до обеда не выходила из боковушки, а он так и просидел на диванчике, на самом его краешке, зажав в коленях ладони, смотрел на божий день в окно и вздыхал.

Наконец она вышла, презрительно глядя на него. Прозрачное ее личико дрожало от обиды и негодования. Молча пошвыряла на стол. Потом подойдя к нему, по-детски пискливо и нервно прикрикнула:

– Встаньте, Петр Матвейч!

Он встал, она взяла с диванчика пачку маргарина и унесла на кухню. Сердито хлопнула дверца холодильника. Так же сердито она позвала его к столу. Петр Матвейч пошел на ватных ногах. Он двигался, как во сне, с большим трудом и непонятно зачем.

– Ешьте, – приказала она ему на кухне.

И он, удивляясь себе, взял ложку и стал послушно хлебать, не ощущая ни вкуса, ни запаха супа, только по цвету определяя, что он столовский. Надежда сидела напротив, тоскливо глядя ему в тарелку. Стараясь не поднимать глаз, он дохлебал суп, и она поставила перед ним котлеты, и он, не переставая удивляться, съел эти развалившиеся котлеты и выпил безвкусно-жидкий чай вместе с печеньем, которое она ему подсунула. Все было совершенно безвкусно и бесцветно. После обеда Надежда сразу вымыла посуду, обтерла чистым полотенчиком и поставила ее в сушку. Нюрка копила посуду до вечера. Петр Матвейч автоматически отметил чистоплотность Надежды и ее стремление к порядку. Чего совсем нет в ее брате. Потом Надежда вновь заторопилась к своей боковушке, а Петр Матвейч сел на краешек дивана. Дважды кто-то стучал в окно, и Надежда выходила в сени, разговаривая негромко, но властно. Видно, из столовой приходили. Потом налетел Витек, взбудораженный, помятый, с синяком под глазом. Помахал развинченными руками, восторженно рассказал, как воровал ночью козу у жены и как супруга вмазала ему промеж глаз поленом. Он даже не спросил и не понял, почему у сестры все еще сидит Петр Матвейч, а все повторял свой рассказ о полене, и от счастья у него наворачивались на глаза слезы. Петр Матвейч понимал, что главное в его счастье было не полешкина печать, а то, что он заглядывал в окна и что супруга была одна и ревностно бережет от мужичьих набегов свой двор, детей и скотинку. Помахав руками, как мельница, Витек умчался. Уже вечерело, а они все сидели, в кромешной и ядовитой тишине, не зная, что делать и как жить дальше. В этой тишине раздался потаенный и трусливый скрип дверей. В дом прокрался Яшка, прошел к дивану и, оглядевшись в полумраке, нехорошо хихикнул:

– Ну вы даете, а!

– Иди отсюда, – резко отозвалась из боковушки Надежда, и Петр Матвейч вздрогнул.

Надежда вылетела из боковушки и зашипела, Яшка съежился.

– Ну че ты, че ты? Че расшипелась-то? Мужик не по нраву пришелся?

И, тут же получив толстой книгой по голове, закашлялся и уполз змеем из дому.

Вечеряли без света, всухомятку.

Потом Петр Матвейч повалился прямо на пол на кухне. Тяжелый день дал себя знать, и дрема давила тяжелая, цепкая. И когда что-то шлепнулось на него, он подумал, что это сон, и не открывал глаза. Надежда же пнула его в бок и фыркнула.

«Коза», – подумал он, встал, расстелил брошенный ему на пол матрас и, возясь с белеющим в темноте бельем, накрыл ухо подушкой и провалился в душную бездну. Спал тяжело и беспробудно. На рассвете его разбудил звон разбивающегося стекла. Петр Матвейч вылетел на улицу. Молодые убегали, весело смеясь и держась за руки. Петр Матвейч поглядел им вслед, прислушиваясь к упругому их топоту, к отдаляющейся их радости, повеселел сам. Хмель вроде прошел. Голова посвежела после сна, утро дышало молодым влажным ветром. В этом дыхании особенно силен запах зелени и угар оживающей земли. Петр Матвейч знал этот жар. Он хмелел, как от женщины. Его и сейчас тянуло на свой огород. Он вздохнул и пошел к сараю, где у Надежды хранилось стекло.

– У тя стекла еще много, – пошутил он, уходя в гараж, – месяца на два хватит. А потом всем надоест бить. Угомоняется все...

Надежда дернулась, краска бросилась ей в лицо. Она нехорошо, почти по-собачьи, оскандилась.

– Че я такого сказал? – удивился он, глядя на взвихренную ее головку, и тихо вышел. – Вот потому она и одна... Злючка...

В гараже, конечно, все уже знали. Когда он вошел, мужики постарше слишком торопливо кивали и отворачивались. Молодые же, наоборот, глядели на него, как на клоуна, с ехидным задором. Василий, старый его товарищ, молча пожал ему руку и поспешно отошел. Петр Матвейч не поднимал глаз, работал у верстака полдня и молчал. Особенно донимал его Витька Перевертыш, недавно вернувшийся из армии. Он заскакивал в гараж после каждого рейса и кричал от ворот:

– Матвейч! Как медовый месяц? Даешь показатель! Поди не терпится домой...

Шоферня хохотала. Василий молчал, работая рядом. Хотелось курить, но не было ни курица, ни денег. Просить ни у кого не стал, опасаясь насмешек. Едва дотянул до обеда и вышел на задний двор гаража. Солнце грело лицо, шумели шмели. Ползали мураши. Настырная зелень пробивалась сквозь свалку под забором. Жизнь кипела, брала свое, и жить было надо. Пришел Василий. Протянул пачку папирос. Закурили. Петру Матвейчу совсем не хотелось говорить, но Василий был свой и молчал не зря.

Он так же молча разломил батон, половину отдал ему и вынул из кармана луковицу:

– Нюрку твою видел, – сказал он.

Петр Матвейч усмехнулся... После смены Петр Матвейч по привычке пошагал по дороге в сторону своего дома. Очнулся только у Яшкиного дома, где лавочка, забитая бабами, глядела на него так, словно он голый шел. Они, видать, потешили душеньки – давно открыли собрание. Заседала Варвара, прямая, сухая, что палка, руки сплела на поясе. Петр Матвейч вспотел, нырнул в закоулок, прижался к забору.

– Ты че, Матвейч? – Яшка вынырнул с другой стороны забора.

– Дак вот... прихватило, – соврал Петр Матвейч.

– Ну, сигай ко мне. Прямиком вон у сарая.

Петр Матвейч постоял в Яшкином сортире, досадуя на баб: «Ну, доставил я им удовольствие. Теперь телевизор смотреть перестанут. Огороды – и те забыли. Сидят, насадки! Петьку выглядывают! Новости какие! О, блин, бабье медом не корми, дай языки почесать».

Пока он размашисто переходил Яшкин вскопанный огород, его хозяин суетился вокруг Петра Матвейча и гундел:

– Ну, не мог же я напиться. А! Лучше б я напился и остался...

– Не мог! – рявкнул Петр Матвейч, сигая через забор. – Я напился! Мое счастье.

До темноты он отсиживался за огородами у речки. Вода в реке была темна, говорлива и прохладна.

«Так и буду теперь прятаться, как вор, – подумал тоскливо Петр Матвейч. – Может, меня и хоронить тайком будут...»

К Надеждиному дому пробрался потемну. Заметил, как ветерком мелькнуло пестрое платье вдоль забора.

«Караулит, что ль», – недовольно подумал он.

Надежда пыталась рубить дрова. Тюкала топориком о лиственный чурбан. Петр Матвейч молча забрал у нее топор, насадил топорище, наколол дров. Неторопливо растапливал печь. Глина возле дверцы у печи треснула и вываливалась. Печь дымила. Петр Матвейч открыл и стал чистить дымоходы. Вынес два ведра маслянистой сажи. Надежда все делала молча. Бледная, маленькая, нахоленная, как пташка, неслышно порхала по избе.

– Печь надо обмазать, – заметил Петр Матвейч.

– Здесь много чего надо, – прохладно ответила хозяйка.

Она поставила на стол отваренную картошку и котлеты. Ужинали без света. Только огонь печи уютно окрашивал угол. Свистел чайник. Ели тоже молча и ходили по дому тихо, словно таились. Надежда постелила на диване. Но Петр Матвейч, повздыхав, перенес матрас на кухню.

– Радикулит свой погрею, – ответил он на молчаливое выражение Надеждино лица.

Она принесла ему из кладовки раскладушку. Ночью он пил горячий чай, превший на печи, и смотрел на майские высокие звезды, и думал, что там Ньюраха одна и тоже смотрит сейчас на звезды в своем окне. И тут раздался звон битого стекла, увесистый булыжник пролетел в печь и заскакал на полу.

– Это чтоб вам слаще было, падлы!

Он выскочил на улицу, увидел ее платки и юбки, она шла посредине и все кричала надрывно и хрипло, и стало нестерпимо жаль ее. Вспомнил про больные ее ноги, и то, что она всегда боялась выходить ночью в своем-то дворе, не говоря уж о поселке. Значит, остра боль, не дающая ей покоя. Он представил сейчас, как она войдет в пустой их дом, на который она положила жизнь и все свои силы и где ее по очереди мотали и Юрка, и Тамарка и теперь вот он, и неожиданно для себя Петр Матвейч заплакал. Отдышавшись и обтерев слезы, он вошел в дом, с деланной игривостью прикрикнул в залу:

– Идут твои стекла, Надюха. По плану бьют каждую ночь...

Надежда не ответила. Она тихо плакала.

\* \* \*

Так они протянули до самого разгара лета, волнуя односельчан. Бабий «передатчик» работал без устали. Их имена трепали по всем лавочкам. Мужики понавадились в столовую на смотрины. Похоже, Надежде это понравилось. Она ходила на работу, как на свадьбу – разряженная в пух и прах. Часами вертелась у зеркала. Мало того, и Петра Матвейча попыталась вывести на прогулку. Нарядила его, словно в город собрались, – и под руку в магазин. Петр Матвейч пока шел, упирался. Он с Ньюрахой-то под руку не ходил. Все он впереди, она чуть поозады шла, а тут с девкой чужою. Бабы от такой наглости оторопели. Кино и только. В магазине тишина такая стояла – одних мух и слышать. И Надежда среди молчаливого этого внимания громко и старательно выговарила:

– Вот, Петр Матвейч, купим тебе эту рубашку. А что? Серая клетка тебе очень подойдет!..

Редкая кудель Петра Матвейча взмокла. Надежда звала его в магазин помочь поднести покупки, одеться едва уговорила, нехорошо, мол, в твои годы, как бичу последнему. Скажут, что я не уважаю. И тут в магазине спектакль играет. Петр Матвейч дернулся от рубахи, которую она уже несла ему, словно по ней ток шел.

– Скромный! – пояснила Надежда продавцам его дерганье. – Не любит на себя тратиться. Прямо не заставишь! Вот мне, пожалуйста, не жалко. Вот Петр Матвейч, купим тебе эту рубашку.

Петр Матвейч увидел входящую в магазин Буслаиху – это уличное «радио» – и двинулся из магазина.

– Ну, какая я тебе честь?! – с досадой укорил он ее дома. – Что ты из меня выставку делаешь? Я старик, понимаешь. Я тебе в отцы гожусь.

– Подумаешь, старик, – она добродушно бросила на стол сверток с рубашкой. – В городах, знаешь, сколько таких браков. Я и кино такое видела, как один профессор влюбился в молодую...

– Я тебе че?! Профессор? Насмотрелась, начиталась книжек. Лучше б ты замуж пошла за работягу вон из нашего гаража. Нянькалась бы сейчас как положено.

– Успею еще. Между прочим, не такая я и молодая, как тебе кажется.

– Что ты говоришь!

– Да! Мне, между прочим, уже тридцать семь!

– Вот врет-то!

– Если и вру, то немного. Так что невелика разница.

– О где дуры! И впрямь свет переменялся! – добродушно, впрочем, проворчал Петр Матвейч и ушел чинить забор огорода.

Днем и на людях они, как он говорил, «поигрывали», даже во вкус входили, но вдвоем находиться не могли. Петр Матвейч до темна глубокого что-нибудь ладил во дворе, а она не выходила из избы. Петр Матвейч заметил, что бабенка она старательная, только ладу нет от ее старания. Все по-своему хочет переделать, будто до нее и не жили на земле. А она все переделает, переделает... Только все наперекосяк и получается. Петр Матвейч вбивал гвоздь в пряслину, когда перед ним с другой стороны забора вырос Басманов-старший, Надеждин отец. Когда-то Петр Матвейч звал его Сашком, хотя Басманов и постарше его. Такой же сухой и высокий, жердина, что и покойный старик Басманов, он навис перед Петром Матвейчем, снял кепку и почесал затылок.

– Ты это... – Басманов закашлялся, голос его изменился и лицо побагровело. – Смотри! Застрелю тебя, кобеля старого. Учти.

И пошел, как подсолнух, свисая головой над забором, за ним утицей перебирала откормленными окороками тяжелая Людмила. Петр Матвейч сел на пригорок у забора и закурил. Временами он как бы впадал в беспамятство или тяжелый сон – ел, пил, ходил на работу и после возвращался в чужой дом, спал на полу на кухне, ходил с Надеждой, и, когда подыгрывал ей, то казалось, слышал в себе отголоски прежнего беззаботно размашистого Петушка, отчаянного и звонкого, и как-то вроде молодец, подтягивался, иной раз и в зеркало вглядывался – всеобщее внимание не проходило бесследно – и так бы захлопал крылышками – кукареку. Но все же он ждал, что все образуется само собой. Может, налетит Нюраха, возьмет его за руку и уведет домой. А там все выяснится и все постепенно забудется, и они заживут, как жили. Надежду он жалел. На поверку она оказалась не такая и холодная. Продукты таскала и брату, и семье брата, и родителям доставалось, и Петра Матвейча прикармливала. Как-то заикнулась что, мол, неплохо бы и его Нюрахе подбросить мясца. Правда, робко очень...

Басмановы недолго задержались в доме. Минут через двадцать хлопнула калитка, и Петр Матвейч увидел длинную фигуру Александра и плотную Людмилы. Они быстро удалялись. Петр Матвейч поднялся с земли и пошел в дом.

– Учить они меня собрались, – фыркала Надька, – на четвертом десятке.

– На то и родители, – заметил Петр Матвейч, набирая ковшом воду из ведра, – до ста лет.

– Они меня не воспитывали. Я у бабушки росла.

Петр Матвейч допил воду в ковше, утер мокрые усы.

– Может, и не рожали тебя. Капустница, может. А?

– Ну, ладно. Сама разберусь. – Она повернулась к нему тоненькой спинкой. Петр Матвеич грустно подумал: «Хвалится годами, а сама девчонка-девчонкой. Бабьего – ни тела, ни рассуждения!» Его Тамарка точно такая же. Баба нерожавшая, одинокая – не баба. Хоть сто ей лет стукни. Заготовка... Он вздохнул и пошел на огород. Но работать не хотелось. Едва доладил забор. Уже подумывал за стайки братья – снести рухлядь эту на дрова, чтобы свет пошел к Надьке в дом, но руки не лежали на инструменте.

Как-то там Нюраха? Он думал о том, как тяжело ей сейчас без него. Мало того, что на одну ее пенсию не разбежишься, а она, поди, Юрке посылку все одно спровадила, да еще огород теперь одной тянуть. Воды сколь таскать надо! Так думал он, маятником мотаясь по чужому двору и поглядывая на небо. Лето после долгих холодов пришло сразу – в один день, и запалило так, что, думали, сторгят всходы. Но жары приносили грозы и ливни, и всходы окрепли. Вечера были светлые, длинные, ночи высокие и короткие, и комары не давали житья. Хлопая себя по шее и рукам, Петр Матвеич наконец сам понял, чего он ждет. Потемну он вышел со двора и пошел, стараясь тулиться к палисадникам, чтобы не быть на свету. Наконец завернул в проулочек и пошел свободнее, но у самого колодца наткнулся на целующуюся парочку, встал и поперхнулся. Голубки разомкнулись на минуту и пропустили его. Проходя, он узнал дочку шофера из гаража, Федорова, и очень удивился – это когда ж она выросла?! За проулком уже виднелся его дом, окно светилось. Увидел свет своего окна и заволновался. Сердце колотилось, как у молодого. Подошел к калитке, торкнулся, и калитка приотворилась. Петр Матвеич с досадой заметил, что Нюраха не заперла калитку на ночь. Видно, как воду носила из ручья, так и не заперлась. Забываться совсем стала. Мало ли кто войдет во двор?! Кабыздошка робко тявкнула, но, узнав хозяина, завиляла хвостом. Петр Матвеич потрепал ее жиденькую гривку и встал напротив окна в кустах. Он знал, что его не видно из дому. Нюраха сидела у стола и, водрузив очки на нос, пыталась вдеть нитку в иглу. Это ей не удалось. Она сняла очки и долго, не шевелясь, смотрела перед собой. Потом вдруг вздрогнула и повернулась к окну, глядя прямо на него.

Дыхание у Петра Матвеича остановилось. Кто бы ему сказал хоть полгода назад, что он будет стоять, как вор, в своем дворе, глядя на свою бабу и тосковать по ней так, как не тосковал в молодости. Нюраха с каждым днем все отдалялась от него. И чем больше убегало этих дней, тем сложнее было примирение. И чем дальше, тем запутаннее становилась их жизнь, такая уже ясная до конца, пережитая, вся их, вдруг искривилась и пошла путать и рвать перед концом...

– Нюраха, – сказал он в темноте, – эх ты, Нюраха, Нюраха.

Он увидел в окне, как она пошла к двери, и присел под кустом, прижимаясь к забору. Она вышла на крыльцо, и Кабыздошка подбежала к ней, а она стояла и всматривалась в темноту ограды. Потом вздохнула, поглядела на небо, вынесла Кабыздошке хлеба и ушла в дом.

«Так и не заперлась», – сердито подумал Петр Матвеич. Он пробрался к калитке и заложил ее изнутри. Потом вышел в огород. Потрогал грядки. Они были мокрыми. Перемахнул через огород, как молодой, и пошел по пустынному переулку. Шел с размаху, не разбирая дороги, и потом почувствовал горячее на щеках. Пальцами нащупал слезы и изумился им. Потому что он раньше не плакал. Даже на судах Юрки не плакал. «Вот ведь как баба нутро рвет, – думал он, утирая слезы рукавом, и ему было легче от слез. – Видала бы она меня сейчас. Все ей казалось, что не любил ее. А счас и свет не мил без нее становится, и жизнь не нужна».

Надежда ждала его, налила ему столовского супа. Видимо, он не сумел скрыть своего обращения к нему.

– Чего?! – недовольно заметила она. – Он свежий. Это не объедки. Из котла...

– Чай есть? – спросил он, насильно выхлебав несколько ложек этого супа.

– У Нюрки своей, поди, и помой хлебал, – не выдержала Надежда и, резко взяв чашку, вылила ее в ведро.

«Дура, – спокойно подумал Петр Матвейч. – Сравнила себя с Нюркой. Нешто она подала бы хлеба казенного?»

– Нету чая. Печка дымит, а газ у меня давно вышел...

Он глянул на печь, заметил, как она ободрана, давно не белена, вздохнул и ушел в горницу.

– Чего будем делать-то? – спросил он ее, садясь на диван.

– А чего делать? Жить будем, и все, – откликнулась она, вытирая тряпкой клеенку на столе.

«Разве это жизнь? – подумал он. – Такая жизнь хуже смерти...»

Ночью он встал, подошел к окну. Стояла теплая летняя ночь. Звенел коростель, глубоко лучились звезды. Он думал о Нюрахе. Она не выходила из всего его существа ни на минуту, только ночами нападала тоска по ней, сильная, как боль, и мучила его. Он думал, что в армии он тосковал по деревне своей и родительскому дому, о родине своей. Сейчас он на родине и тоскует только по своей бабе. Значит, дело в бабе. Все к ней и сводится. К ребру своему. Отец его, Матвей, любил повторять: от нашего ребра нам не видать добра...

– Ты чего, Петр Матвейч?! – спросила из своей боковушки Надежда.

Он подивился тому, что она не спит.

– Да так, – закашлялся он. – Курить хочу... Куды-то папиросы подевались.

– На окошке они...

Он громко зашарил по подоконнику. И тут ему пришла в голову мысль, что она опасается его приставаний и потому не спит.

– Ты спи, – сказал он ей. – И не бойся ничего. Ничего не бойся. Я старый...

– Вот уж чего я давно не боюсь, – фыркнула она из темноты. – Я, может, другого боюсь... что ты, правда, старый... Или притворяешься...

– Спи спокойно, – буркнул он, громко укладываясь на полу, – а то проспишь завтра. Кавалеры твои оголодают...

Спал он плохо и с утра на работе в гараже едва двигался.

– Ишь как меды-то соки сосут, – все вертелся подле него Витька Перевертыш. – Рвет поди жилы молодуха?!

– Ну ты, иди отсюда, сосунок, – отгонял от товарища-пересмешника Василий. – Вот женишься, тады сам поймешь, кто чего там рвет...

Василий так ничего и не спрашивал у Петра Матвейча и вообще не заговаривал с ним о новом его адресе. Перекусывали они обычно вдвоем на задворках гаража и молчали, без слов понимая друг друга.

После работы он взял ведро, пошел в свой карьер копать глину. Нашел песку и долго возился во дворе, замешивая раствор.

– Ну, грязи-то приволок! – проворчала Надежда.

Он не ответил, но глянул на нее сурово и укоризненно. Надежда поджала губы. Петр Матвейч вбил в дыры кирпича, всю печь тщательно обмазал.

– Завтра побели! – сказал ей внушительно.

На ужин она подала ему картошки в мундирах. Ели с первыми огурчиками. Он хвалил изо всех сил.

– Домашнее-то и хлеб с солью вкуснее, – говорил он ей, а она, покрасневшая, как-то странно и задумчиво взглянула на него.

На второй и на третий день печь так и стояла черной. Вздохнув, Петр Матвейч пошел рыться в басмановских сараях. Известку он нашел в бумажном мешке. Старик Басманов знал и умел многое и был запаслив. Известка не пошла в распыл и разварилась бело и круто. Приготовил из нее «сметану» раствора, внес ведро в дом. Надежда капризно сморщилась.

– Эх, Надежда, Надежда, – приговаривал Петр Матвейч, – печка в доме, как сердце. Главное. Сколь она работать будет, столь и жизни в доме... По печи хозяйку узнают. Как печь обухожена, такая и хозяйка. А что это без печи жить?! Али с такой ободранной печью? Как, понимаешь, голый зад... Хозяйка, едрена вошь...

– Ну, ладно, учить-то.

– Поучиться не грех. Смотри, я вот обмазал ее известочкой. Подсохнет, сама уж побели. А то тебя бабы просмеют, если мне придется белить.

– Чихала я на баб ваших.

– Почихаешь да надоест. Доброе-то имя оно дорого стоит.

– Прям для баб наших подорожает...

Однако на другой день Надежда побелила печь, и та засияла, что невеста на свадьбе.

– Ну вот, – примирительно сказал он. – Самой приятно. – Учись, а то мужик-то, он, знаешь, он домовитых любит. Замуж-то все одно пойдешь.

– А я замужем, – рубанула она.

– Дура-то... – усмехнулся Петр Матвейч. – Кто же так замуж ходит!

Надежда затопила печь и сварила летнего молодого борща. Петр Матвейч впервые за лето от души поел. Аж вспотел от удовольствия. Доедая хлеб, Петр Матвейч думал, что таких, как Надежда, он много видел. Раньше их меньше было, а сейчас они, как после заморозков, эти бабенки, неплодные, по-бабы неразвитые. Что-то из души их не светит, не тянет, не греет мужика. Они же чем старше, тем озлобленнее. Сверкают, как льдинки. До первого сугрева...

– Прям вы у баб только на печь и глядите, – ядовито вспомнила их разговор Надежда.

– Сразу-то оно, может, и не на печь. А после того мужик – он все заметит, – вздохнул Петр Матвейч.

Вечером пришел Витек и сразу увидел печь.

– Ну ты даешь, Надька. Я и не думал, что ты умеешь.

Надежда дернулась, отчего-то обиделась и спряталась в своей боковушке.

– Слышь, Матвейч, – тихо сказал Витек, – Борю Ельцина я нашел... Вернее, Райка привела...

– Ну, брат, ну, я поздравляю.

– И Райка ко мне пришла...

– Так вы что, сошлись с Зинкой? – крикнула Надежда.

– Ага, сошлись!

– Во дурак. Так для тебя козел главное, – рассердилась сестра, – что ты о нем в первую голову сообщаем.

– И козел тоже, – ответил брат и пошел к двери.

– Ждите в гости. Скоро придем! – крикнула ему уже через окно Надежда.

«Ну нет, – подумал Петр Матвейч, – меня там только не хватает. Хватит, и так заго-стился...»

\* \* \*

Однако уже вершился июль, знойный и белый, а ничего не менялось в их жизни. В селе вовсю шли сенокосы. Траву косили везде, где она поднялась. Сено сохло на пряслах и крышах, и в огородах и везде, где не гуляло красно солнышко. Дождей, слава богу, выпало в этот сенокос немного, но грозы пугали сельчан. Петр Матвейч все мотался между гаражом и Надеждиным двором в привычном уже полусне, все больше теряя надежду на то, что этот сон когда-нибудь развеется. Он все же снес старые полусгнившие сараи и стайки во дворе у Надежды и вскопал под ними землю.

– Урожай у тебя будет, Надежда, на тот год. Вишь, как земля скотом удобрена. Будет чем деда Петю вспомнить.

– Я собираюсь отбивать этого «деда», – полушутя-полусерьезно ответила она, – хватит, нажилась одна. Мне все одно теперь – либо за разведенного, либо в отбивочку. Пьянки мне не надо... А ты, Петр Матвеич, мне как раз подходишь...

«Кишка тонка у тебя меня отбивать, – спокойно подумал Петр Матвеич, – нешто ты с Нюшкой сравнишься?»

А ей сказал:

– Пьяный, говорят, проспится да к делу сгодится. Добрая баба и пьяницу отмоеет да к делу пристроит.

– Хватит на меня одного братца...

Нюраха словно бы даже успокоилась. Окна у них больше никто не бил, и в гости почти никто не ходил. Яшка Клещ – и тот переставал интересоваться их жизнью, и Петру Матвеичу стало недоставать пристрастного этого внимания. Только и оставались бесконечные мысли и воспоминания о Нюрахе. Лежа на полу на кухне, он смотрел в потолок и все вспоминал, словно кино смотрел про свою прошедшую жизнь. Вспоминались первые годы их совместной жизни, молодой любви. Ее ревность – как она раздражала его! До самой старости к Клавдийке ревновала! И только теперь, лежа на полу в чужом доме уже месяцами, не слыша ее голоса, он понял, что ревность эта происходила из ее страха потерять его. Что всю жизнь она жила только им и все ее главные заботы вокруг семьи, центром которой она ставила его. Какая простая мысль и как трудно было с нею смириться! Бабы – они ведь совсем другие. У тебя – одно, у них – другое! Думаешь – характер скверный, а это их любовь такая... Навыдумывают, наворочают и бедному мужику на голову все свалят. А у того все просто. У него этих извилин нету... Есть, пить, работать, любить... Пришла пора – женился, жил, как все, к старости только с нею и о другом не мыслил. Чего было ревновать?! – Так он подолгу вертелся с боку на бок, засыпая только перед рассветом и каждую минуточку думая о Нюрахе. А когда встретил ее после работы на остановке, то не сразу узнал и оторопел от неожиданности. Она сидела на лавочке и поднялась ему навстречу.

– Че ты с собой сделала?! Лохудра! – сразу сказал он ей, так будто они два часа не виделись и она заскочила по дороге в парикмахерскую.

– Химку, Петя, – смирно ответила она, шевеля буйной, седеющей уже головой.

– Ишь вздумала! Завела, что ль, кого?

– Может, и завела. Не одному тебе по сучкам бегать...

Он присел рядом с нею. Сердце колотилось и досадовало. Так ждал этой встречи. Все думал, как объяснит и скажет, а тут и слов не найти... Помолчали, глядя на придорожную березу, уже подбитую кое-где ранней желтизной.

– Как живешь? С молодой-то?

Он не ответил. Ему и говорить не хотелось, а хотелось сидеть вот так рядом до самой смерти или идти с ней к дому, как раньше. Уже несло осенней свежестью где-то в глубоких прожилках разгульной теплыни, да обдавал ветер уже забытой трезвенностью и прохладой. Искоса он оглядел ее. Неровная химка седой мочалкой взбита на голове и не красила ее поху-девшее за эти месяцы лицо. Губная помада, не привычная для нее, расплылась. Кроме прочего, она была в туфлях на каблуках.

– Наворотила, – горько усмехнулся он и достал папиросы.

– Захотела и наворотила. Я, может, тоже приму кого. Не все тебе.

– Примешь, – сплюнул он. – Токо и забот у тебя...

– Ну, ты зато заботливый. Кобелина!

Глаза у нее загорелись и губы вздрагивали. От жалости у него начало покалывать сердце.

– Нюра. Ну Нюрка!

– Уйди, змей проклятый! Загубил ты мне всю жизнь мою, кобелина! Всю жизнь таскался, ни одной юбки не пропустил. А на старости совсем рехнулся...

– Дура-то, во дура! Хоть бы на минутку поумнела, чтобы выслушать мужика своего хоть раз за всю жисть!

– Ну, где мне, дуре, понять умника такого! Дура я, дура. Вот кто я... Что жила с тобой, прощала все... Умная-то баба давно бы тебя турнула...

Петр Матвеич понял, что дальше об этом говорить бесполезно. Вскипит – и только ее видали... Он заметил, как в доме напротив остановки шевелятся занавески. На них сейчас глядела явно не одна пара глаз. Петр Матвеич кашлянул и спросил:

– Юрка написал?

– Написал!

– А девки?

– Девки его интересуют! Юрка! Ты о детях-то думал когда? Только о своих шалавах и думал! Я Юрке все пропишу, какой отец у него герой...

– Напиши, напиши! Пусть пацана в карцер засадят. Да ты, поди, уж написала!

– А че же, молчать буду? Ты такое творишь, а я молчи!

– Че я творю?! Ну чего я творю? Это ты натворила. Я напился, а ты раздула все! И ниче, ничегошеньки у меня с ней нету. Нюрка! Дура ты, дура. Я пожалел ее, что опозорил... А ты дура такая!..

– Пожалел! Жалелка-то работает!

– Ну, тебе хоть кол на голове чеши! Я же тебе русским языком толкую. – Он все сбавлял тон. Все старался утишить ее. – Как там двор?! Соседи?

– Живут соседи! Кроме тебя, никто домов не побросал. Клавка стоит на своем огороде.

– Стоит?

– Стоит.

– А ты говорила, она меня высматривает!

– Ага, счас, тебя... Нужон ты ей. Я ходила к ней на огород. Оттуда вид хороший. Пригорок же! Лес, речку видать, полянку. Вот она и смотрит. А ты уж обрадовался. Думал, тебя она день и ночь выглядывает.

– Кто обрадовался? Я? Да ты сама это сочинила. А счас на меня сваливаешь!

– Все я тебе сочинила! Всю жизнь я тебе сочиняла! Надьку Басманову тоже тебе сочинила!

– Конечно, ты! А кто ж? Не летела бы сдуру, не дралася сломя голову, а никаких историй бы не было.

– Молчи! Историю я сочинила! А что вы с ней по ночам делаете?

– Спим, чего ж...

– Спите! Я знаю, кобелина косоглазая, что вы спите. Знаю, как вы спите.

– Я сроду косым не был!

– Не был, дак будешь!

Не успел он опомниться, как зазвездило у него в глазах. Она вцепилась ему в лицо и рвала щеки.

– Нюрка! Нюрка, что ты делаешь? Опомнись.

Вокруг них собирался народ, Мужики молчали, а бабы подначивали.

– Дай ему, Нюрка, дай. Ишь, распустились. Ни людей, ни Бога не боятся.

А она билась в его руках, с молчаливой яростью, пытаясь добраться до его лица и волос. Наконец изнемогла, устала. Отдышавшись на лавочке, встала.

– Подожди. Я еще до сучонки твоей доберусь, – спокойно пообещала она и, тряхнув юбку, прошла сквозь баб и пошла посредине дороги, тяжело переступая на каблуках.

Надежда встретила его с усмешечкой.

– Никак с возлюбленной беседовал?!

Он промолчал, а она, подавая ему полотенце, вздохнула:

– Как ваши законные-то беснуются!

Ночью он вышел во двор. Наступил август и ночи были темные и густые, как сажа. Звезды близкие. Он подошел к бочке и поплескал водою на саднившие щеки, потом сел на завалинку и закурил. Он был почти счастлив сегодня.

Надежда становилась все внимательнее к нему. Готовила дома, на печи, и, когда подавала ему вечерами, на ее лице светилось явное удовольствие. Петр Матвейч старался не замечать ее новых халатиков и кудряшек и заходил в дом потемну уже, устроиться на полу. Думать до утра о Нюрахе. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Он ведь никогда в жизни не задумывался, любит ли, нет жену. Вроде и ни к чему это было. Живут, всегда рядом, все вместе. Не будь Надежды, он бы с ней жизнь прожил и не понял бы, как тяжело без нее. Прямо хуже смерти. Иной день двигался, как заведенный, без всякого своего сознания и вдруг остановится да подумает: «Зачем теперь все?! К чему работать, для кого?! И жить зачем?! Во как баба за живое берет. Родителей хоронил, а так не тосковал. О детях сердце болит, но не рвется. А тут просто жизни нет, и все тут!»

Прошло недельки полторы, как однажды, вернувшись с работы, он не застал Надежду дома. Это случилось впервые за время их совместного пребывания, и Петра Матвейча озадачило. Слоняясь по двору, он все поглядывал на небо и поймал себя на мысли, что ждет ее и привязался и к ней. Все же она заботилась о нем эти месяцы и не обижала его. Скудны бабы ее запасы, а и те перед ним раскрыла. Как могла обихаживала, кормила, стирала, сидела с ним вечерами, глупые ее притязания он и воспринимал как детские. (Маленькая Шурочка его балаболила: «Как вырасту, за папу взамуж пойду...») Таково, видно, сердце человеческое, на ласку, как на клей, пристаёт... Калитка стукнула уже в полутьме. Надежда простучала каблучками по битому кирпичу ограды мимо него, курившего на завалинке, и влетела в дом. Петр Матвейч докурил папиросу, посидел немного и пошел за нею. Надежда лежала ничком на диване и рыдала. Петр Матвейч от волнения выпил ковш воды, потоптался на кухне, потом подставил к дивану табурет, сел и покашлял. Она рыдала, не обращая на него внимания, рыдала взаправду, взахлеб, громко и непрерывно. Он погладил ее по голове, как всегда, не касаясь волос, в воздухе.

– Вот смотри, смотри, что она со мной сделала! – криком ответила она на его утешение и подняла к нему вспухшее красное лицо.

Петр Матвейч нашарил рукой выключатель, лампочка под потолком вспыхнула. Он деликатно отвернулся от Надежды. Распухшее и изодранное ее лицо было жалким. Как еще глаза целыми остались.

– А страмила-то как! Всяко-всяко! – всхлипывая, жаловалась Надежда, пока Петр Матвейч молча подносил ей воду, полотенце, зеркальце.

Взглянув в зеркало, Надежда взвыла. Петр Матвейч поднес ей чаю и поставил на табурет. Забрал у нее из рук зеркальце.

– До свадьбы заживет, – сказал он ей. – Перемелется, мука будет.

– Народу полная столовая. Одна шоферня. На раздаче я, там дыхнуть некогда. Я и не обратила на нее внимания сначала. И не узнала ее. А она как давай орать. На всю столовую. Такой спектакль устроила, мне хоть под землю проваливайся. Ну я и сказала ей: «Успокойся и иди домой. Так, – говорю, – его не вернешь». А она, как фурия, на меня. Перелетела прямо через раздачу и вцепилась. Прыткая такая, цепкая...

Надежду трясло. Он поднес ей стакан с горячим чаем.

– Ты бы промолчала, она бы не налетела...

– Счас вот, промолчала бы... С чего это?!

– Как-никак я ее муж.

– Был ее муж!..

Ночью Петр Матвеич думал, что пора завязывать с этой историей и что-то решать... От Надежды надо уходить, это ясно, как белый день. Он лежал и думал, к кому. Тамарка – в общезжитии, Шурочка – далеко, и одно дело – ехать в гости, другое – жить. Еще неизвестно, что там Нюраха написала девкам. У друга Валерки такая ядовитая жена... Так он перебирал-перебирал и все чаще останавливался на развалюхе на окраине села. Эта брошенная хата старого Казимира. Там печку подладить – и худо-бедно можно перекантоваться. Он уже думал, как вывезет уголь, а ребята из гаража помогут с ремонтом, и на душе легчало. Как он сразу не додумался об этой хатке? Сколько можно было за лето сделать. Но ничего, до снега время есть. Еще есть...

Он не заметил, как на кухне появилась Надежда. В белой ночной рубашке она стояла перед ним белым облаком. Он и не сразу понял, что это она.

– Ты чего, Надежка?! Чего надо, скажи...

– Ничего, – сказала она и легла рядом.

Петр Матвеич вскочил.

– Ты чего это, зачем?!

– Затем. Чтобы зря языком не мололи. Если я потаскушка, то и буду ей. Че испугался-то! Забыл, как это делается! – Она пыталась наигрывать голосом, но голос у нее дрожал и срывался.

– Еще не легче, – наконец понял он, – выдумала! У вас, у баб, ум есть?! Хоть немножко?

– Немножко есть. Знаешь, в каком месте?!

Петр Матвеич заметался по кухне в поисках брюк.

– Че забегал-то? Или тебе баба, что ли, совсем не нужна?! Меня же не обманешь.

– Надежка-Надежка! Ну, до чего ж вы глупые, бабы! – Он подошел к окну, взял папиросы. – Разве ж от отчаяния под мужика кидаются?

– А от чего под него кидаются? – тихо спросила она.

– От любви... Ну, отчего... для детей...

– Ой, заговорил. Ты сам талдычил: навывдумывали любви!..

Он молчал и курил у окна. Она тоже молчала, потом хрипло заметила:

– Что-то холодно.

Ее, видать, действительно колотило от страха и волнения. Петр Матвеич подался к печи, выгреб золу и быстро забросал топку дровами. Огонь занялся сразу, и печь загудела, весело озаряя кухонку. В этом зареве он видел ее, лежавшую на полу и глядевшую в потолок. Хоть и припухшее сейчас, ее молодое лицо не было печальным.

– Не тоскуй, Надежка, – робко утешил он ее, – все у тебя будет хорошо. Ты вона красавица. И руки у тебя справные, и все у тебя есть. Чего тебе кого попало подбирать. Найдется у тебя судьба.

– Найдется! – Надежда усмехнулась и сиротливо повернулась на бок, положив ладошки под щеки. – Тебя вон и то обольстить не могу. Чем я хуже твоей Нюрки? Я молодая. Одета как надо. Она, как елка, – навзденет на себя этих юбок.

– Какая есть!

– Вот видишь? Тебе, какая есть! А я вот никакая не гожусь.

Петр Матвеич вздохнул, налил чайник, поставил его на плиту.

– Эх, Надежка-Надежка! Как ты рассуждаешь. А тут арифметика простая. На молодую моложе найдется, на красивую милее, на умную умнее. Сама понимаешь, а тут нужна одна – своя баба! Какую уж Бог тебе дал. Моя и все! – задумчиво повторил он себе и пошел к печи, открыл дверцу и смотрел на молодой яркий огонь, на снопы искр, разлетающихся по раскаленному зеву печи.

– И тебе найдется твой. Поди, уж находился, да ты, вона, гордая какая. А жизнь, она гордых не любит. Она их мнет, как кожу, чтобы помягчели. Так-то, дурочка... моя.

– Ниче я не гордая! Это так, для форсу. Не особенно мне и находились. Серьезного-то никого не было.

– Будут еще, подожди.

– Сколь ждаться-то? – вздохнула она. – Уже бабий век кончается!

– Еще и не начинался. Вот родишь, тогда и баба начнется в тебе...

Чайник вскипел быстро, и Петр Матвеич подал Надежде чашку свежего чаю.

– Вишь, как с тобой хорошо-то! – сказала она. – Чай в постель носишь. – Она не смотрела на него. Села и пила чай.

– Ох, и докатилась я, сама мужику в постель лезу. Правильно Нюрка твоя кричала, потаскушка я и есть.

– Э-эх, сиди молчи. – Петр Матвеич взмахнул рукою. – Ты их и не видала, потаскушек-то. Да у нас их и нету в деревне...

– А ты видал...

Он промолчал и закрыл трубу печи.

– Ну, будет, иди спать. Все у тебя хорошо будет. Выйдешь замуж за своего мужика. Нарожаешь ему еще кучу. Вот здесь пеленки висеть будут. А счас иди, а то на раздаче спать будешь.

– Твоя Нюрка даст поспать! – усмехнулась Надежда.

– Ничего, она больше не придет. Я ее знаю. Она теперь пар спустила... Пока будет новый копить.

– Спасибо, утешил!

Надежда встала, потянулась, без смущения и все тем же деланно-наигранным тоном сказала:

– Не надо мне другого мужика. Мне, Петр Матвеич, ты нужен...

Петр Матвеич отвернулся к окну и закашлялся.

– О, дуры бабы!

\* \* \*

На другой день после работы Петр Матвеич подался на другой конец села смотреть Казимирову завалюшку. Он шел огородами по ручью, чтобы не встретить баб либо саму Нюраху. У своего огорода приостановился. Огурцы еще были открыты. Капуста круглилась крепенькими бочками. Будет что солить на зиму. Только картошка вот редко посажена. Интересно, пробовала ли нет Нюраху картошку? Раньше на Ильин день они подкапывали картошку на пробу. Варили котелок и с первыми огурчиками ужинали... Хоть глазком глянуть сейчас на котелок, да какие огурцы у Нюраху уродились. Он постоял, как мальчишка, выглядывая в щели забора, и пошел далее. Казимирова хатка стояла на отшибе как-то особнячком, выкривляя правильность полукруга улицы. Он был татарин, этот Казимир, и все любил делать поперек. Детей у него не было, баба умерла сразу вслед за ним. Она любила вино и попила-погуляла с полгода после него. Так пьяная и померла. Хоронили с миру по нитке. Вот здесь и лежала. На дворе под сентябрьским смиренным солнышком. Тихая лежала, с детским испуганно-изумленным лицом...

Ворота двора были сняты, и изгородь почти вся сожжена в кострах. Огород наполовину зарос кустарником. Ольха и малина забили разрушенную баню и клетки. Он вошел в дом. Подпольной запустелой сыростью дохнуло на него, хотя окна были давно вынесены вместе с рамами, но воздух улицы словно обходил дом, не попадая в него. Печь развалена, без плиты и дверцы. Но сам дом еще крепок, просторен. И кровать осталась. Стол сам сколотит себе с табуреткой... Он успокаивал себя этими заданиями, но сам дом произвел на него тягостное впечатление. Тянуло на воздух, и он почти выскочил в ограду, поднялся на огород и сел в

густых зарослях череды и ромашки. От волнения закурил, отдыхая в теплом мареве от пребывания в смрадной избе.

«Да, – думал он, – нескладно, несладко завершается жизнь. Вона с чего приходится снова начинать. Все заново, как и не жил! Как бабай буду! Ну и пусть!» Ему даже послаще стало от жалости к себе. И впервые за все последнее десятилетие он почувствовал себя одиноким, и это было совсем новое чувство для него. Было когда-то похожее еще подростком, но все забылось... Уже смеркалось. Дни заметно стали короче, и сразу понесло холодом от зелени. Он поднялся, обеими руками опираясь в спину и усмехнулся. Жених, твою мать... Обрато шел улицей и торкнулся в свою калитку. Она была заперта и окна занавешаны. Зато окна соседей были ярко освещены и открыты. У окна за столом сидели Клавдийка с Виктором. Они ужинали. На столе стояли отварная молодая картошка, мясо и огурчики молодого посола. Они ели, не глядя друг на друга, но в неторопливо-уверенных, плавных их движениях было все одинаковое, словно они единый организм, и на их молчаливых спокойных широких и твердых лицах было одинаковое выражение...

Надежда встретила его у калитки. Сопроводила в дом. Пока Петр Матвеич мыл руки, подала хорошего домашнего борща.

– Я знаю, что мы будем делать, – сказала она, когда Петр Матвеич начал хлебать борщ. – Мы с тобой уедем в город!

Петр Матвеич поперхнулся. Она подошла к нему, постучала ладонью по спине:

– Да, да! Здесь нам житья не дадут! И вообще, нас там никто не знает. Я уже все продумала...

Петр Матвеич отодвинул от себя тарелку, встал, с досадой потянулся к папиросам.

– Ну, чего ты? Разве плохо я придумала?!

Он молчал, курил, смотрел в окно.

– Ну, чего молчишь? Ну че ты все время молчишь?!

– Че говорить-то?! Выдумки у тебя какие-то детсадовские. Из пеленок не вылезла еще.

Начитались дурных книжек, вот и выдумываете себе жизнь...

Она отвернулась от него, а он вышел во двор и сел на завалинку...

\* \* \*

Потихоньку отстрадался сеногноино-дождливый август. Весь месяц Петр Матвеич, крадучись, пробираясь в заброшенную Казимирову усадьбу и возился в ней до поздних звезд. Надежда молчала, но однажды явилась вслед за ним.

– Выследила! – добродушно удивился он.

– Лыжи востришь? – сказала она. – Не выйдет ничего!

– Чего не выйдет? – спросил он ее и тут только заметил, как она похудела и похужела за эти месяцы, подумав: «Ниче, уйду – успокоится. Потолстеет».

– Сожгу я здесь все! Так что не старайся!

Возвращались вдвоем. Возле Ньюрахиных окон она вдруг громко рассмеялась, без конца тараторя и называя его имя...

– Чего нейметя?! – сердито спросил он ее дома.

– Нейметя, – ответила она и ушла в свою боковушку.

Ньюраху он не видел больше месяца. Народ уже копал картошку, не веря свежему, молодому сентябрю и солнечным его дням. Ньюраха еще не выходила в большой огород, это он видел, проходя задами. Видимо, ждала Тамарку. Надежда свою крохотную делянку копала сама. И он не просился в помощь. В середине сентября он встретил Ньюраху. Он заскочил после работы в магазин за папиросами. Очередь стояла изрядная, видно, поздно привезли хлеб, Петр Матвеич аккуратненько протиснулся к прилавку, оттолкнув какую-то бабу у весов, она обер-

нулась, толкнула его локтем, и тут только он узнал Ньюраха. Она держала в руках хлеб и зорко смотрела на весы, на которых продавщица взвешивала банку с растительным маслом. Ньюраха или не узнала его, или не захотела узнать. Была она в старой Юркиной куртке, из-под которой выглядывала будняя юбка, и выцветшем платке до глаз. Она отвернула от него потемневшее, огрубелое лицо, сложила покупки в сумку и тяжело пошла, пробивая очередь плечами.

– Подожди, Нюр. – Он догнал ее на улице. – Я хотел спросить тебя.

Она остановилась, молча глядя ему в лицо холодными, равнодушными глазами. Это равнодушие подсекло его. У него одеревенел язык.

– Ну, это... Как картошку-то – выкопала?!

– А тебе че до моей картошки? Боисся с голоду со своей подохнуть?! Со столовой принесет...

Она говорила с ним просто, без прежнего сердечного надрыва и ревности, как чужому, как соседу, с тусклой и холодной усталостью. Затянула потуже платок и пошла от него вдоль дороги, тяжело шаркая резиновыми сапогами. Грузная, не похожая на себя, постаревшая и бесцветная.

Она уходила от него, чужая, совсем чужая, так, как ходят женщины, которым все равно, нравятся они или нет, и он, похолодев, понял, что это все, конец. Полный разрыв. Земля медленно поплыла у него под ногами.

«Что я, дурак, про картошку? Надо было про Юрку спросить...» Но земля плыла и плыла, отдавая тяжелую страшную ее фигуру, а потом подступила к сердцу какая-то сладость, смешанная с болью, которая нарастала, нарастала, вместе с темнотою...

\* \* \*

Иногда сознание возвращалось к нему, и тогда он видел окно с белыми занавесками и синее небо с нежными взбитыми облаками. Иногда это окно заслоняли белые фигуры. Кто-то садился рядом с ним и что-то говорил, но Петр Матвеич был совершенно равнодушен к этим фигурам, занавескам, разговору вокруг него, только этот синий манящий клочок бездны вверху окна волновал его, и тогда он вспоминал Ньюраха, и сердце его плакало от того, что он может не успеть оправдаться перед ней и сказать ей, что он, конечно, виноват, но совсем не так, как она думает...

Потом он снова проваливался в темноту. Так он жил между двумя безднами – черной и синей, и, может быть, черная перетянула бы его, но молодой врач, у которого Петр Матвеич оказался первым инфарктником, стал его врачом и сиделкой. Он боялся смерти своего пациента, обзвонил все городские клиники и очень старался. Конечно, надо было еще жить. Для Ньюрахи, Юрки и Тamarки, и он выжил. Когда Петр Матвеич окончательно пришел в себя, за окном темнел голый лес, только рыжели лиственницы и чернели сосны. «Значит, октябрь», – подумал он и больше не интересовался временем. Он долго, в общем, ничем не интересовался: ни суетой вокруг себя, ни лечением, ни где он, ни о том, что с ним случилось... Только смотрел и смотрел в меняющуюся синеву неба и наглядеться на него не мог. И если он думал, то только о Ньюрахе и все гадал, увидит он ее или нет. Жизнь, однако, вытягивала и затягивала его. Однажды проснувшись ночью, он удивился, что все время один в палате. «Неужели меня никто не навещает?» – изумился он и так расстроился, что едва дотянул до утра.

– Кто ходит, что ль, ко мне? – спросил он утром пожилую нянечку, убирающую в палате.

– А как не ходят! – ответила она, шаркая шваброй. – И жена бывает. И дети... Дочери были. Из гаража делегации бывают... Пигалица твоя бегают... Требуется, чтоб пустили. Да никого не пускают пока. Сказали нам, пока исть не будет, никого не пускать...

– Дак ты мне дай поесть-то!

– Вон у тебя полная тумбочка всего...

Дня через три ему разрешили свидания. Он волновался с утра, просил няню достать ему бритву и зеркальце. Няня долго ерепенилась: мол, родной бабе ты всякий свой и хорош. Лишь бы живой был. Но все же поскребла по мужской палате и принесла все, что надо. Петр Матвеич тщательно побрился, исхудалые щеки и, глядя на себя в зеркальце, вздохнул: постарел, исхудал жених-то...

На обходе сказал врачу, чтобы впустили жену.

– Сегодня впустим, – пообещал врач, – но ненадолго и без волнений.

После обхода Петр Матвеич сразу стал ждать. Время тянулось и тянулось, и он спрашивал сестер, делавших ему уколы, когда свидание. Они отвечали одинаково и равнодушно: «После сончасы...» Он удивился, какой может быть сон в таком ожидании?

Наконец шаги за дверью участились. Там, в коридорах, явно все оживилось, заговорили люди, захлопали двери. Шли посетители в другие палаты. А он лежал и ждал, и успокаивал себя. Совершенно неожиданно возник за дверью взволнованно-тонкий голос Надежды:

– Да он из-за меня же там. Вы ничего не понимаете!

– Только родных, только родных, девушка, – холодно отстраняла ее сестра от палаты.

– Да она же жить нам не давала, – частила Надежда. – Он же... Она его и довела... Боже мой, да поймите же вы...

Петр Матвеич испугался, что ее впустят и она помешает ему свидеться с Нюрахой, и в это время он услышал крутой и властный голос жены:

– Ну-ка, кишь отсюда, прошмандовка!

Дверь отворилась, и вошла Нюраха, румяная, свежая, яркая, как картинка, в юбках и платках, с сумками в обеих руках. Петру Матвеичу показалось, что само солнышко вкатилось к нему в палату. Глянула на него и молча стала выкладывать из сумок пакеты и банки, рассовывая все по тумбочке. Потом села, сняла два платка на плечи, поправила третий на голове.

– Ну, здравствуй, ненаглядный...

Он хотел сказать, и много сказать, но волнение, поднявшееся в его груди, не дало произнести ни слова, он только открывал рот и неслышно повторял:

– Нюра! Ню-ра!

– Ну я, я Нюра! Дура твоя! Вишь как прилетела, все забыла. Ну, ладно, ладно. Не переживай, тебе нельзя...

Он отвернул голову к стене, чтобы она не видела его слез. Но она нагнулась над ним и утерла слезы концом своего платка. Помолчали.

– Спасибо, что пришла, – наконец вымолвил он.

– А кому ты больше-то нужен! Кикиморе этой... молодой... Спектаклю устроила у дверей. Может, позвать? Может, меня не надо?

У него от таких слов перехватило дыхание. Он ничего не мог сказать, только раскрывал рот.

– Ну все, все, все, – сама напугалась она. Поправила ему подушки, подоткнула одеяло. Вынула из пакета горшочек, обернутый полотенчиком, и ложку. – Давай-ка поешь...

Он не хотел есть, но понимал, что сопротивление бесполезно. Послушно открывал рот, и то, что она кормила его с ложечки, было приятно ему, а картошка с маслом и свежепросоленными огурчиками была вкусна, и он съел, сам не ожидая того, весь горшочек.

Потом она утерла ему рот своим платком и, поглядев на него, едва сдержала слезы. Оба они так натосковались друг без друга, так настрадались на двух краях нежданной пропасти, пролегшей между ними. И эта пропасть, в которую заглянули они, и называлась «жить друг без друга», была так страшна обоим, что они старались забыть о ней и тянулись, тянулись друг к другу.

– Нюра, Нюраха!

– Ну, я, я... Чего еще?!

– У меня с ней ничего... Ну, ты понимаешь, ну, ничего не было! Она как дочка мне...  
– Сказывай... У тебя сколь таких дочерей-то было...

– Вот побожусь!

– А побожись!

Он перекрестился, счастливо глядя на нее. Она закашлялась:

– А че ж ты это выпендривался-то? Домой не шел!

– А довела ты меня, Нюраха! Крепко довела. За человека перестала считать. Только и слышал, что петух да петух... Ну, я петух, а ты, стало быть, курица. Ты видала когда, чтобы курица петуха клевала-то? Птицы – и те понимают, что мужик – он голова...

– Ну, ладно, Петька, ладно... Все, все... Успокойся... Теперь уж все...

Слезы все же лилились из ярких ее, лучистых глаз, и она, стесняясь их, отвернулась.

– Ой, че ж я? – утирая слезы, как бы спохватилась она. – Я ведь киселька наварилаobleпешного.

– Да будет мне!

– Ешь, кому сказала! Будешь мне ешо брыкаться.

– Ох, Нюрка, Нюрок, ты мой нырок! – счастливо воскликнул он, захлебывая киселем. – Теперь я хоть помру спокойно...

– Ага, счас, помрешь – гля-ди-ко! – со спокойной твердостью сказала она ему. – Да я тебя со дна могилы вытащу. Пока я жива, ты никогда не помрешь!..

\* \* \*

В конце октября его привезли домой. Вывели из гаражного автобуса под руки, и он вошел в дом, потрогал рукой натопленную печь, сел в своей комнате на свою кровать, увидел багряную рябинку и всхлипнул. Он вообще стал слезлив, и Нюраха боялась сказать ему что лишнего. Ходила за ним, как за малым дитем. Он, натосковавшись по родным углам, с ранней зорьки слонялся по своему двору, все проверяя, ко всему присматриваясь, притрагиваясь и печалась, что двор ветшает и нужны руки, а он теперь совсем не тот хозяин, что прежде.

– Были бы кости, мясо нарастет! – успокаивала его Нюраха. – Ты мне сейчас еще нужнее.

Теперь их часто навещала Клавдия, с которой Нюраха сдружилась. Пили чай с лепешками. Клавдия всегда приносила какой-нибудь ягоды в баночках. Говорила степенно, рассудительно, всегда по делу. Петр Матвеич внимательно слушал ее, согласно кивал головой и думал: «Хорошо, что я на ней не женился!» От нее Казаковы узнали, что Варвара заболела и Яшка увез ее в город лечиться, а сам запил с Басмановым. Что Басманиха за это отоварила его граблями по спине, а Витька запирает на замок и грозит снова уехать к матери. Повела она также, что Надежда уехала в город, рассчитавшись совсем со столовой, которую собираются закрывать.

– Глянь, уехала твоя, Петька, – не утерпела Нюраха. – Как жить-то теперь будешь?..

Петр при Клавдии смолчал, а Нюрахе вечером сказал:

– Ты не трепи почем зря девку-то. Она ни в чем не повинная. Я тебе сказал, что греха у нас не было! Ты уж или забудь все, или... – Он махнул рукой.

Нюраха побледнела и прикусила язык.

По воскресеньям теперь она ездила в церковь, приезжала после обеда и все докладывала, за кого подала и кому свечку поставила.

– За Надьку твою поставила, – сообщила она ему однажды, снимая с головы платки, – чтобы Царица Небесная послала ей доброго мужа.

Петр Матвеич кивнул головой и улыбнулся.

Стояли последние дни октября. Еще грело, лучась, стариковское последнее тепло. Лес еще опал не весь, и листва кружила в синем высоком небе золотистыми птахами. Нюрка с утра мыла крыльцо, и листва слетала на мокрые чистые плахи, а когда она несла воду с ручья, листья

свежо желтели в ясной воде. Петр Матвееч сидел на завалинке и курил, а Нюраха вынесла из бани таз с настиранным бельем и вывешивала его на протянутую веревку. Петр Матвееч глядел, как ветер вздувает и хлещет ее цветастые юбки над красными резиновыми сапогами. Из-под юбок виднелись смуглые голые ноги, и он подивился их девической тонкости.

«Жизнь прожила, – подумал он, – а зада бабьего не нажила». Нюраха как прочитала его мысли, обернулась и с неудовольствием глянула на него.

– А знаешь, Петька, – чуть погодя сказала она ему. – Правильно ты сказал. Может, это и к лучшему, что наши дети так маются. Я вон посмотрела в телевизоре эти морды-то, начиная от козла... Дак подумала: они ить все, поди, и училися, и институты покончили и родители имя гордились, а сколько они беды понаделали, дак не приведи господь! Она всю Россиюшку обшманали да продали... Дак оно лучше, может, в лагерях сидеть, чем там вон. Ведь весь народ их позор видит, это одно, а Господь что с их спросит за это. А наши-то нагрешили, да отмоются в этой же жизни. Только свои жизни и попортили. Не то что эти козлы... Весь народ пограбили да обгадили. Может, Господь простит за муки деток наших...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.